Ал.Лесс

НЕПРОЧИТАННЫЕ СТРАНИЦЫ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

За четыре десятилетия журналистского труда Александр Лазаревич Лесс встречался со многими деятелями русской литературы, искусства и науки. Книга маленьких рассказов воссоздает много примечательных эпизодов, в которых оживают странички истории нашей культуры. Каждый рассказ открывает какую-то новую черточку в облике того или иного большого человека. Эти черточки характера таких дорогих нам людей, как писатели Лев Толстой, Чехов, Телешов, Гиляровский, Фурманов, Маяковский, артисты Остужев, Шаляпин, Мейерхольд, художник Левитан и многие, многие другие. Миниатюры А. Лесса построены на малоизвестном, а чаще и вовсе неизвестном материале.

•

Александр Лазаревич Лесс
НЕПРОЧИТАННЫЕ СТРАНИЦЫ
Рассказы
М.: Советский писатель, 1966
Scan, OCR, SpellCheck А.Бахарев

Содержание

Сонет о Ленине
Ответ Чехова
Рассказы о Толстом
Великий мечтатель
Случай с «Владимиркой»
Вопрос и ответ
Странички из погибшего дневника
Чашка
Первая отливка стали
Сигнальный экземпляр
Подснежники
Сокровище
Рассказ о неполученном интервью
Подвиг
Как пропал рубль
Посылка прибыла в Лондон
«Александр Пушкин»
«Лишь тот достоин жизни и свободы...»

История двух записных книжек
Сверток
Судьба «Порт-Артура»
Строки борьбы
Из творческой истории «Волоколамского шоссе»
Экспромт
Медалью награжден, но...
«Аллея Петровича»
Книга, рожденная в застенке
Товарищ детства
Виконт Жан Вяземски
Две встречи
Это было в Виноградове...
Рукопись находит автора
Пять часов с Фейхтвангером
До последнего дыхания...
Комментарий к портрету
Черноликий друг
Ошибка Брюсова
Поиски «коня»...
Диалог драматургов
К истории «Пушкина»
Стихи Анжелики Сафьяновой
Первые шаги
История одного псевдонима
Поправка по существу
Сувенир
Интервью
Инкогнито
Телефонный разговор
Последний оригинал
Букет белых роз

СОНЕТ О ЛЕНИНЕ

Эммануил Казакевич задумал большой роман о нашей жизни, озаренной именем Ленина, мыслью Ленина, образом Ленина.

Приступая к работе над книгой, писатель пришел к убеждению, что для понимания Ленина как человека ему будет недостаточно изучения оной только мемуарной литературы. Он должен встретиться с людьми, которые работали с Лениным, наблюдали его изо дня в день.

Казакевич решил обратиться к академику Глебу Максимилиановичу Кржижановскому. Глеб Максимилианович –

друг Ленина в революции, в творчестве, в жизни. Образ Ленина Кржижановский хранит не только в простой человеческой памяти о прошлом, но во всей полноте своих сегодняшних ощущений. Он как бы продолжает до сих пор идти рука об руку с Лениным. Кто лучше его сможет рассказать, как Ленин работал, одевался, общался с людьми, как шутил, печалился, радовался, что он любил особенно сильно, что особенно остро ненавидел? Кто, как не Кржижановский, сможет передать все обаяние вождя, всю неповторимую сложность этого великого характера?

Вместе с Казакевичем отправился к Кржижановскому и я.

Был одиннадцатый час слякотного декабрьского утра, когда мы подошли к небольшому особняку на улице Осипенко, в котором вот уже несколько десятилетий живет Кржижановский. Казакевич был молчалив. Чувствовалось, что он взволнован предстоящей встречей с другом Ильича. Молча мы вошли во двор, молча поднялись по узкой лестнице на второй этаж и оказались в длинном полутемном коридоре, освещенном цветными витражами.

Глеб Максимилианович приветливо встретил Казакевича. Едва он переступил порог кабинета ученого, как Кржижановский поспешил сказать, что читал его «Звезду» и рад видеть у себя автора этой книги.

Все в этой большой светлой комнате, обставленной старинной, несколько громоздкой мебелью, с камином, с высокими – до потолка – книжными шкафами, казалось, жило, дышало Лениным, напоминало Ленина: и его фотографии, висящие на стенах и стоящие в рамках на массивном письменном столе, и давно уже отжившая свой век пишущая машинка, достойная вечного хранения потому, что на ней печатался великий план ГОЭЛРО, и кресло, в котором сиживал Ильич, и пол, как бы хранящий на своих паркетных плитках шаги Ленина,- ведь здесь, по этому полу, в волнении ходил он из угла в угол, радостно потирая руки, мечтая о том светлом времени, когда миллионы электрических «лошадиных сил» заменят тяжкий человеческий труд.

Да, здесь была та «наполненность» Лениным, которая передавала и другим постоянно владевшее Кржижановским — ощущение живого, соприсутствующего Ильича...

Глеб Максимилианович сидел за маленьким столом. Круглая черная шелковая шапочка, чуть сдвинутая на лоб, оттеняла его бледное лицо с белой бородкой и серебристыми мохнатыми бровями. Он показывал Казакевичу автографы Ленина, письма, короткие — на клочках бумаги — записочки Ильича, в разное время и по разным поводам адресованные Кржижановскому. Но

важнее всего были его рассказы о Ленине — живые, яркие, поражавшие своей точностью, образностью, мягким юмором, тонким пониманием психологии, а главное — проникнутые безмерной любовью к Ильичу.

Любовь к Ильичу! Вся квартира, все в ней, и сам Глеб Максимилианович - все было переполнено любовью к Ленину. Кржижановский иногда замолкал, будто погружаясь в раздумье, затем продолжал рассказ, изредка смеялся, вспоминая что-то веселое, и при этом его глаза, суживаясь, сверкали озорно и молодо. Столько неистощимой энергии было в душе этого человека, что временами можно было совсем позабыть, что перед нами восьмидесятилетний революционер, испытавший ссылку и каторгу...

...Мы уже собирались уходить (неловко было утомлять старого человека), когда Глеб Максимилианович проговорил:

— Однажды Владимир Ильич, смеясь, сказал мне, что вряд ли среди нас найдется такой чудак, который проживет больше шестидесяти лет...

— Почему? — удивился Казакевич.

— А очень просто. Ленин вложил в эти слова такую гордую мысль: коммунист должен всего себя отдать делу революции, делу партии. Он должен гореть, гореть всегда, гореть пламенно, ярко, непрерывно, гореть и... сгореть! А я вот... зажился!..— печально сказал Кржижановский, в своей необычайной скромности как бы не умея даже осмыслить того, как не напрасно прожил он жизнь, как не напрасно «зажился».

Выдержав долгую паузу, Кржижановский сказал:

— Мне всегда казалось, что язык поэзии дает человеку большие возможности для выражения своих мыслей и чувств, чем наша обыденная речь. Ведь, в сущности, она очень бедна и маловыразительна... Я написал несколько сонетов о Ленине,— последнюю фразу Кржижановский произнес чуть смущаясь, по-юношески краснея, как начинающий поэт.— Хотите — прочту? Я их никому не читал, а вам прочту...

И Глеб Максимилианович прочел один за другим шесть сонетов. Закончив чтение, он взглянул на нас. Глаза его были влажны.

Я спросил Кржижановского, не собирается ли он печатать свои сонеты?

— Ни в коем случае! — твердо сказал он.— Я не считаю их художественными произведениями. Я пишу их тогда, когда вспомню какой-нибудь случай или... когда захочу поговорить с Лениным, как с живым...

Мысль о сонетах Кржижановского не давала мне покоя. Желание опубликовать их было столь велико, что я несколько раз — и во время личных встреч, и в разговорах по телефону — настойчиво просил об этом Кржижановского. Но Глеб Максимилианович был непреклонен. Всякий раз он отказывал, ссылаясь на несовершенство своих творений.

Однако по прошествии некоторого времени я вооружился письмом от редакции одной газеты и вместе с журналистом Алексеем Величко отправился на дачу Кржижановского под Звенигород.

Глеб Максимилианович сидел на скамье в глубине сада и беседовал с академиком Станиславом Густавовичем Струмилиным. Заметив нас, Кржижановский поднялся и легкой, быстрой походкой пошел навстречу, издали приветствуя широким, радушным жестом.

— Идемте на террасу, друзья,— сказал он.— Выкладывайте, с чем приехали!..

Мы объяснили цель приезда и вручили письмо.

Пока Глеб Максимилианович читал письмо, я внимательно всматривался в его лицо. На этот раз он показался мне бледнее обычного. Он похудел, осунулся, И только глаза, удивительные глаза Кржижановского — острые, пытливые, проницательные, — были по-прежнему молоды.

— Право, не знаю, что мне делать с вами...— раздумчиво произнес он, прочитав письмо и аккуратно складывая его.— Недавно я написал еще один сонет. Мне он нравится. Его, пожалуй, я мог бы дать. Но с условием... если он понравится вам...

Глеб Максимилианович вошел в комнату и тотчас же вышел, держа в руках лист бумаги. Он посмотрел на нас, затем перевел взгляд на рукопись и начал читать:

Ужель все кончено?.. Все струны отзвенели?..
И о страде всех нас замолкнет в мире речь?..
Не может быть!.. Недаром мы сумели
Такой костер из искорок зажечь...
Далеких юных дней отрадные волненья
И встречи первые, Ильич, с тобой...
О, если бы в последнее предсмертное мгновенье
Твой облик пламенный предстал передо мной!
И чтобы не укор прочесть в твоем мне взоре,
А прежний, теплый твой и дружеский привет...
С самой бы смертью я тогда поспорил,

Сказал бы ей: где ты — там смерти нет!
Где ты — там сердце мира бьется,
Там знамя красное победно развернется!

...Через полчаса наша машина уже мчалась по Можайскому шоссе. Мы торопились в Москву, в редакцию. Почти всю дорогу мы молчали. Мы думали о человеке, которого только что покинули,— о большевике, ученом, поэте, друге Ленина.

ОТВЕТ ЧЕХОВА

- Часто бывает так: услышит человек смолоду хорошее слово, и становится оно его спутником на всю жизнь. Слово это, как луч во тьме, освещает жизненный путь человека.

Я прожил жизнь с таким хорошим словом, услышанным из уст Чехова.

Не подумайте, что я был близок к Антону Павловичу или состоял в числе его друзей. Совсем нет! Я видел великого писателя несколько раз, но всегда — мельком, и у меня, пожалуй, не сохранилось бы о встречах с ним никаких воспоминаний, если бы не один случай...

Было это в Любимовке — имении Алексеевых, родителей Константина Сергеевича Станиславского.

Незадолго перед этим я окончил медицинский факультет Московского университета и служил ординатором *в* Старо-Екатерининской больнице. Я был страстным теннисистом и довольно часто завоевывал призы. Однажды брат Станиславского, с которым я дружил, пригласил меня поехать в Любимовку поиграть в теннис.

Нам предстояло проехать поездом до Тарасовки, а оттуда на лошадях — до Любимовки. Перед отходом поезда в переполненный пассажирами вагон вошел высокий человек в пенсне, с маленькой русой бородкой, в светлом летнем костюме.

«Смотри! Чехов! — обрадованно шепнул мой друг.— Ты знаком с ним?.. Давай пригласим его сесть...»

И тут же, протиснувшись сквозь толпу, подошел к Чехову и сказал:

«Антон Павлович, садитесь с нами... Мы потеснимся...»

Так я познакомился с Чеховым. В то лето он гостил у Алексеевых и сейчас, так же как и мы, направлялся в Любимовку.

Почти всю дорогу я молчал, наблюдая за Чеховым. Антон Павлович то читал газету, то смотрел в окно, изредка перебрасываясь с нами общими фразами. Я не запомнил этой дорожной беседы: все время я находился под обаянием личности

человека, с которым теперь сидел рядом...

В Любимовке мы играли в теннис до самого вечера, но Чехова не видели — весь день он безвыходно работал в своей комнате.

Вечером на поляну близ реки был вынесен самовар, вокруг которого расположились и братья Станиславского, и их друзья — все, кто в этот день был в Любимовке. Почему-то зашел разговор о профессиях, о будущем молодежи.

Один из гостей Алексеевых, молодой человек, типичный хлыщ, представитель «золотой молодежи», лениво развалившись на траве, обратился к Чехову.

«Антон Павлович, вы такой большой знаток человеческой души,— с актерским наигрышем произнес он.— Посоветуйте, куда мне идти учиться?.. Право, не знаю куда... Может быть, в медицину?..»

Наступило неловкое молчание.

Чехов посмотрел в упор на молодого человека холодными глазами и ответил неожиданно резко:

«Профессия врача, медицина, мой друг, как и литература,— подвиг. Она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов. Не всякий способен на это. Таким, как вы, там не место!..»

...Академик Алексей Иванович Абрикосов закончил рассказ и подошел к окну. В январских сумерках лежала перед ним заметенная снегом Москва — город всей его жизни.

РАССКАЗЫ О ТОЛСТОМ

Когда я думаю о верности одного человека другому, движимой не расчетом или зависимостью, а истинной, высокой любовью, я вспоминаю Самуила Моисеевича Беленького, работавшего переписчиком у Льва Николаевича Толстого в последние три года его жизни.

Более полувека хранит он, как самое дорогое, воспоминания о Толстом и в постоянном духовном общении с ним черпает силы, чтобы жить и работать.

Ему восемьдесят три года. Но он по-прежнему, как вчера, как два года, как тридцать или сорок лет назад, переписывает произведения Толстого с редких книг и рукописей для различных изданий,— говорят, никто так свободно не «расшифровывает» трудный почерк Толстого, никто так легко не ориентируется в сложных лабиринтах толстовских «правок», как Беленький.

Есть что-то бесконечно трогательное в его жизни, исполненной неугасимой любви к Толстому, в медлительной и спокойной манере речи, в простой, почти спартанской,

обстановке комнаты, в поразительной, доходящей до застенчивости, скромности в быту.

И вот я сижу у Беленького. Поблескивая стеклами очков, медленно, часто останавливаясь, он рассказывает мне о Толстом, о годах своей работы у великого писателя.

Он говорит хриплым, чуть глуховатым голосом, без жестов и ложной аффектации, естественно и просто, согревая каждую фрезу, каждое слово необыкновенной внутренней теплотой...

СЮРПРИЗ

Было это в 1909 году, в августе, в какой-то праздник,— сейчас я уже не вспомню, в какой именно.

Вечером в столовой большого дома В.Г.Черткова в Телятинках собралась деревенская молодежь. Пришли и сотрудники издательства В.Г.Черткова. Кто-то готовился прочесть вслух специально написанную вещь, некоторые собирались продекламировать стихи, а затем, как часто бывало, спеть хором несколько народных песен.

Ждали Льва Николаевича. Уже стемнело, когда Толстой верхом на своем Делире подъехал к усадьбе. Все обрадовались и высыпали его встречать. На этот раз я решил устроить Льву Николаевичу «сюрприз».

Среди гостей были два старика — Евгений Иванович Попов и Федор Алексеевич Страхов. Я знал, что они талантливо импровизируют в четыре руки на темы русских народных песен, которые так любил Лев Николаевич. Но если мне самому попросить Попова и Страхова продемонстрировать их искусство, они наверняка откажут, смущаясь присутствием Толстого.

Я шепнул несколько слов на ухо Льву Николаевичу, и он тотчас попросил Попова и Страхова поиграть. Они застеснялись, начали было отказываться, но затем согласились и сели за фортепьяно.

Уже само это зрелище было необыкновенно эффектно: один из стариков — черноволосый, с длинной, узкой бородой, другой — белый как лунь; оба серьезные, степенные, молчаливые — казалось, они совсем не подходили для игры на фортепьяно.

Все стихло. Зазвучали первые аккорды. Сначала робко, неуверенно, затем, размахнувшись, все шире и шире полилась песня «во поле березонька стояла». Варианты создавались и следовали один за другим, самые разнообразные и неожиданные, поражавшие богатством красок.

Лев Николаевич сидел оживленный, взволнованный, весь захваченный игрой, чуть шевеля в такт ногами.

Никто не подозревал, что это была моя затея. Знал об этом только *Лев* Николаевич. Но и он, вероятно, не догадывался, что это был мой «сюрприз», специально подготовленный для него.

«ЭКОНОМИЯ» ТОЛСТОГО

Однажды я заметил, что Лев Николаевич растерянно бродит по комнатам, очевидно что-то разыскивая.

— Что вы ищете. Лее Николаевич? — спросил я.

— Понимаете ли, собрал в папку довольно много обрезков бумаги,— сказал он.— Да вот совсем позабыл, куда сунул...

Несколько позже Толстой нашел пропавший бумажный «запас». Это были небольшие листки чистой писчей бумаги, отрезанные Львом Николаевичем от писем его многочисленных корреспондентов,

На таких клочках Толстой обычно намечал ответ адресату. Если же отрезок бумаги был не очень мал, Лев Николаевич использовал его для черновых набросков своих произведений.

На первый взгляд такая экономия может показаться смешной и нелепой. В самом деле: в то время большой — двойной — лист писчей бумаги стоил одну копейку. Если считать, что Толстому было достаточно двухсот таких листов на месяц, то сэкономить он мог всего два рубля. При расходах же в несколько тысяч рублей в месяц подобная «экономия» выглядела анекдотической.

Причина бережливости Толстого заключалась отнюдь не в скупости.

Лев Николаевич в каждом изделии видел результат человеческого труда и потому был столь чувствителен к расходованию любого продукта. Он постоянно просил членов своей семьи бережно относиться к каждой вещи, созданной трудом человека. Он не раз говорил Софье Андреевне, что следовало бы сократить количество блюд, подаваемых к обеду, хотя бы на одно,— вместо четырех блюд подавать три. Свои же собственные расходы Толстой довел до такого минимума, дальше которого идти уже было некуда.

СТО ВАРИАНТОВ

Толстой придавал большое просветительное значение составленным им сборникам «Круг чтения», «На каждый день» и «Мысли мудрых людей».

К сборнику «Мысли мудрых людей» Лев Николаевич задумал написать краткое предисловие.

Известно, как старательно работал Толстой над текстом

своих произведений.

Но тут, кажется, он превзошел самого себя: существует около ста переписанных мною вариантов этого предисловия. Я видел на его лице явное смущение, когда он передавал мне очередную рукопись предисловия, всю испещренную помарками, поправками, дополнениями.

— Чувствую, что, кажется, начинаю портить... — однажды сказал он мне.— Не надоело ли вам?..

Его старания доводить свою мысль до максимальной ясности и доступности не давали ему покоя. Поэтому он не любил перечитывать, да почти никогда и не перечитывал свои прежние, давно вышедшие из печати произведения. Для него перечитать свое произведение значило исправить его, а так как исправлять было незачем, то он и не перечитывал их.

ПОДДЕВКА

Лев Николаевич обычно ходил в недорогих старых брюках, летом заправленных в легкие сапоги, а зимой — в валенки. Зимний костюм Толстого был настолько беден и прост, что его в этом костюме издали невозможно было отличить от крестьянина. Особенно же когда на нем был старый полушубок, голова обвязана башлыком, борода засунута за воротник, а на руках — самые обыкновенные крестьянские рукавицы.

Толстой почти всегда носил длинную, широкую, с карманами блузу — ту самую, что позже вошла в моду под названием «толстовки». Она была очень старая, эта «толстовка»,— Лев Николаевич редко надевал что-либо новое.

Однажды Софья Андреевна справила ему легкую домашнюю поддевку. Лев Николаевич ее надел и, видимо, остался доволен: она шла к нему. Но как-то Софья Андреевна вздумала сказать гостям: «Лев Николаевич думает, что это так просто дается, легко... А ведь материал стоит столько-то, портному уплачено столько-то» и т.д.

Больше Лев Николаевич этой поддевки не надевал.

«МЫШИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ КОТА...»

За свою долгую жизнь мне приходилось бывать на обедах в самых различных домах. Но ни в одной семье обед не был «насыщен» таким значительным содержанием, как в доме Толстого. Если бы удалось полностью записать все, что рассказывал Лев Николаевич хотя бы во время одного обеда, что было делом весьма нелегким, мы получили бы подлинно

художественное произведение глубокого философского смысла.

В беседах за обеденным столом, разумеется, принимали участие и гости Толстого. Однако не каждому гостю удавалось бывать на обеде. «Право» обедать с Толстым предоставлялось по усмотрению Софьи Андреевны. Не все «темные» (так сыновья Толстого и Софья Андреевна называли крайне опростившихся толстовцев) допускались. Принимались некоторые: В.Г.Чертков, И.И.Горбунов-Посадов, П.И.Бирюков. Гости из рабочих и крестьян, особенно плохо одетые, встречались с Львом Николаевичем внизу (обед происходил наверху, в столовой, точнее, в гостиной). Обедать же и ночевать они могли только у Черткова, в Телятинках, куда Лев Николаевич направлял их со своей записочкой. Но и здесь не обходилось без курьезов: внука известного путешественника Семенова-Тянь-Шанского — Леонида Дмитриевича Семенова, внешне похожего на крестьянина-батрака, Софья Андреевна охотно принимала наверху, так как с ним она могла... поговорить по-французски — это была ее слабость.

Когда же Софья Андреевна по делам уезжала в Москву, за обеденным столом собиралось самое разношерстное общество. В Ясной Поляне в это время говорили: мыши остались без кота.

РАЗГОВОР С ТРУБЕЦКИМ

В мае 1910 года в Ясную Поляну приехал известный скульптор князь Паоло Трубецкой, чтобы вылепить фигуру Л.Н.Толстого верхом на коне. Трубецкой постоянно жил в Париже. Он был русским, но говорил и писал только по-французски. Это был на редкость оригинальный человек. Достаточно сказать, что он никогда не читал ни книг, ни газет. На вопрос Софьи Андреевны, читал ли он «Войну и мир», Трубецкой ответил:

— Я вообще ничего не читаю.

— Оттого у него в голове только свои мысли, а не вычитанные,— сказал Толстой, иронически улыбнувшись.

— Как же вы, ничего не читая, преподавали в Академии художеств? — спросил кто-то.

— А я и не преподавал,— не задумавшись ответил он.— Я предоставлял студентам возможность работать самостоятельно...

«ТАЙНОПИСЬ» ДОКТОРА МАКОВИЦКОГО

В последние годы жизни Лев Николаевич запрещал кому бы то ни было записывать его мысли, которые он высказывал в

беседах с членами семьи, писателями, друзьями.

Личный врач Толстого — Душан Петрович Маковицкий — не мог примириться с запретом, понимая, какую огромную, непреходящую ценность представляют для человечества высказывания Льва Николаевича.

Д.П.Маковицкий решил действовать «тайно».

В кармане его пиджака всегда находились карандаш и листы плотной бумаги, нарезанной по размеру кармана. Не вынимая руки из кармана, Маковицкий записывал сокращенными словами и условными знаками все, что говорил Толстой.

...Сидит Маковицкий за обедом или за завтраком. Рука по обыкновению засунута в карман. Странным, почти отсутствующим взглядом, устремленным точно в бесконечность, он следит за оживленной беседой, которая ведется за столом. Многие замечают безучастное, как бы равнодушное выражение лица доктора, недоумевают, но не могут найти этому объяснения. Казалось, Маковицкий вовсе и не слушает беседу, целиком поглощенный своими мыслями. Разумеется, никому и в голову не могло прийти, что именно в эти минуты Маковицкий, боясь пропустить хотя бы одно слово, ведет свою «тайнопись».

А по вечерам в комнате Маковицкого долго горел свет — Душан Петрович расшифровывал записи, сделанные за день.

ВЕЛИКИЙ МЕЧТАТЕЛЬ

Бывают в жизни человека мимолетные встречи, которые, несмотря на их случайность и непродолжительность, оставляют в душе глубокий след. Такая именно встреча произошла у меня летом 1934 года в Калуге с Константином Эдуардовичем Циолковским.

Я много слышал о нем как о гениальном ученом, отдавшем всю свою жизнь служению идее межпланетных полетов. Как же можно было, оказавшись в Калуге, уехать, не повидав Циолковского?!

Вот, наконец, деревянный дом, возвышающийся над широкой Окой. Помню узкую скрипучую лестницу, ведущую на второй этаж — в рабочий кабинет Циолковского, помню бледное, точно вылепленное из воска, лицо, пожатие его холодной, чуть влажной руки.

Константин Эдуардович сидел в глубоком кресле у настежь раскрытого окна, зябко кутаясь в шерстяной плед. Навсегда запомнились мне его светлые глаза, его редкая с проседью бородка, его спокойная, молчаливая фигура.

В просторной светлой комнате, служившей ученому и

рабочим кабинетом, и мастерской, и спальней, меня поразило множество каких-то моделей, станков, приспособлений. На массивном письменном столе лежали стопки тоненьких брошюрок по различным вопросам науки и техники. Все эти книжечки в разноцветных бумажных переплетах были в разное время написаны Циолковским и изданы на его собственные средства — скудные средства учителя.

— Всю жизнь,— с горечью проговорил Константин Эдуардович,— я нуждался... Иногда не было даже куска хлеба... Царские чиновники называли меня и «чудаком», и «калужским мечтателем» и отказывали во всем: в поддержке, в средствах, во внимании... Только Ленин, только большевики признали меня... Вот посмотрите,— сказал Циолковский после небольшой паузы, указывая на модели и станки,— ведь все это я сделал собственными руками на свои деньги... Но я знаю, что межпланетные полеты возможны и что в далекие миры первыми полетят русские люди...

Слова «я знаю» меня потрясли. Они были сказаны негромко, я бы сказал — буднично, но именно поэтому прозвучали так сильно и убедительно! Пусть читатель помнит, что это было в 1934 году, когда никто, кроме Циолковского, не посмел бы с такой уверенностью произнести эти слова.

Таким он и остался в моем сердце: очень старым, но устремленным в будущее, очень твердым, верящим в правоту своих идей, расчетов, планов, непоколебимым, как бывают непоколебимыми только гении, чей пытливый взгляд проникает в далекое будущее и позволяет людям идти вперед не в темноте, не ощупью, а по пути, освещенному их пылкой творческой мыслью.

Я вспомнил об этой давней встрече потому, что мысленно представил себе, как бы обрадовался старый ученый, доживи он до наших дней и будь он свидетелем беспримерного подвига советской науки, ибо в подвиге этом воплотились и победа идей Циолковского, и точность его предвидения, и торжество его мучительно-трудной жизни.

СЛУЧАЙ С «ВЛАДИМИРКОЙ»

Автор книги «Москва и москвичи», талантливый бытописатель старой Москвы Владимир Алексеевич Гиляровский не пропускал ни одной художественной выставки. На каждую полюбившуюся ему картину он откликался остроумным экспромтом-четверостишием, которое обычно записывал на полях каталогов.

Однажды Владимир Алексеевич изменил своему правилу.

На передвижной выставке Гиляровский увидел картину Левитана «Владимирка». Щуря глаз, в возбуждении крутя свой длинный ус, Владимир Алексеевич то отходил, то приближался к картине, то молча и сосредоточенно смотрел на нее, не двигаясь с места. Гиляровский написал прочувствованное стихотворение и посвятил его художнику. Это стихотворение, против всех выставочных правил, Владимир Алексеевич прикрепил кнопками к раме картины.

В стихотворении этом, ныне мало кому известном, были такие строки:

Меж чернеющих под паром,
Плугом поднятых полей,
Лентой тянется дорога,
Изумруда зеленей...
То «Владимирка»...

.....

Вот сквозь пыль штыки сверкают.
Блещут ружья на плечах,
Дальше серые шеренги —
Все закованы в цепях.

.....

Несколько дней спустя к Гиляровскому пришел Левитан. Владимира Алексеевича не было дома, и художника встретила жена Гиляровского — Мария Ивановна.

— Гиляй сейчас придет,— сказала она.— Подождите, пожалуйста...

Вскоре в квартиру влетел шумный и, как всегда, возбужденный Гиляровский.

— Спасибо, Владимир Алексеевич, за стихотворение,— проговорил Левитан.

— А ты читал? — спросил Гиляровский.

— Конечно... Вы растрогали меня до слез...

Немного помолчав, Левитан, краснея и смущаясь, сказал:

— Я привез вам свою «Владимирку»... в подарок... она не куплена...

— Ты с ума сошел! — метнув на художника строгий взгляд, закричал Гиляровский.— Да разве такую вещь дарят?!.. Нет, решительно не могу принять твой подарок... Ведь ты за нее

триста рублей получить можешь... Вези!.. Вези обратно!..

Обескураженный Левитан попросил Гиляровского оставить на несколько дней «Владимирку» у себя,— у художника не было тридцати копеек на извозчика, чтобы увезти картину домой...

— Что же все-таки сталось с «Владимиркой»? — спросил я Виктора Михайловича Лобанова — зятя Гиляровского, известного советского искусствоведа, рассказавшего мне эту историю, невольным свидетелем которой он был.

— Все обошлось как нельзя лучше,— ответил Лобанов, улыбнувшись.— Через несколько дней Владимир Алексеевич «затащил» к себе Павла Михайловича Третьякова и усиленно советовал ему приобрести «Владимирку».

— А Третьяков?..

— Последовал совету Гиляровского и украсил свое собрание новой картиной Левитана...

ВОПРОС И ОТВЕТ

Редактор отдела художественной литературы Госиздата Стефан Коляджин читал рукопись повести одного известного литератора. Это была первая самостоятельная работа молодого редактора, только что окончившего университет. В рукописи встретился ряд мест, которые, как показалось Коляджину, требовали исправлений. Он уже собирался переделать смутившие его фразы, но вдруг поколебался и решил посоветоваться с заведующим отделом — Дмитрием Андреевичем Фурмановым.

Фурманов работал в маленьком кабинете, обставленном со спартанской простотой. Здесь царила та атмосфера суровой скромности, к какой привык автор «Чапаева» за годы фронтовой жизни. Внешний облик Фурманова,— он постоянно носил полувоенную форму: френч и галифе,— удивительно гармонировал с непритязательной обстановкой кабинета.

Коляджин вошел в кабинет. За письменным столом сидел Фурманов. Увидев Коляджина, Фурманов отложил в сторону рукопись, над которой увлеченно работал, и вопросительно взглянул на него.

— Меня смущают несколько мест, Дмитрий Андреевич,— сказал Коляджин и протянул Фурманову рукопись.

Фурманов прочитал, подумал и медленно проговорил:

— Да, не совсем хорошо, но оставьте как есть...

Ответ Фурманова удивил и озадачил редактора. Он недоуменно посмотрел на Фурманова, на его глаза, ставшие вдруг ласковыми. Отвечая на немой вопрос Коляджина, Дмитрий

Андреевич сказал:

— Искусство редактирования состоит в том, чтобы не редактировать: удержаться и не править, не причесывать автора под свой вкус. Я уверен, вы все сделаете очень хорошо, гладко, даже безупречно правильно — ни одной волосинки, ни одной бородавочки в рукописи не останется... Ну, хоть ставь манекеном на витрину парикмахерской!.. А автора в рукописи уже не будет... Мертвая штука получится!.. Нет, пускай немножко царапает, немножко задевает, но зато автор останется «живым», таким, каков он есть. Править надо только то, что абсолютно неправильно. И править притом не самому, а убедить автора в необходимости правки, став на его позиции и взглянув на рукопись его глазами. Вы должны сделать в рукописи все, что необходимо, но непременно — рукой автора.

СТРАНИЧКИ ИЗ ПОГИБШЕГО ДНЕВНИКА

Стефан Юрьевич Коляджин — один из старейших редакторов Государственного издательства художественной литературы — в течение многих лет вел дневник. Назывался он «Писатель в редакции». Коляджин записывал беседы с писателями, с которыми он работал или встречался, их мысли о литературе, о писательском труде.

— Мне рассказывали, что у вас есть какой-то ценный дневник,— спросил я однажды Коляджина.— Говорят, там есть очень интересные вещи...

— Был... — неохотно ответил Коляджин.— Я вел его почти тридцать лет... Но он погиб при бомбежке во время войны...

— И вы не думаете его восстановить? — поинтересовался я.

— Восстановить невозможно... Память не удержала, да и не в состоянии удержать многие мелкие, но характерные детали, которые я старательно записывал...

— Неужели вы так ничего и не помните?

— Помню отдельные эпизоды, запавшие в память, но, конечно, уже не столь точно, как они были записаны, а лишь в общих чертах...

И Коляджин рассказал мне о некоторых встречах, и в их числе — о встречах с Маяковским.

1923 год. Краснодар. Приехал Маяковский и выступил в городском театре. Вначале он говорил о состоянии современной поэзии, а завершил выступление чтением стихов. Затем он предложил желающим высказаться. Выступило несколько человек. Одни хвалили, другие выражали недоумение, третьи —

недовольство.

К категории «недовольных» принадлежал и я.

С места я сказал, что в стихах написаны глупости — какой это дурак станет грудь заливать крахмалом?..

Маяковский посмотрел на меня, улыбнулся и бросил какую-то остроумную реплику. Присутствующие подхватили остроту, раздался смех, я растерялся и замолчал.

— Продолжайте! — крикнул Маяковский.

Я молчал.

— Вот, товарищи,— сказал Маяковский,— был единственный критик, который выступил конкретно, да и тот онемел.

А еще через минуту:

— Охотников поговорить, как видно, больше нет... Теперь я буду продавать свои книги с автографами... Кто хочет купить книгу с надписью Маяковского?!..

Потянулись желающие. Я нащупал в своем кармане не то трешку, не то пятерку. Долго колебался, расстаться с ней или нет. В конце концов решил купить книгу с автографом Маяковского.

— Как нас зовут? — спросил поэт. Я назвал свое имя.

— А отец у вас был?

— Был.

— Как его звали?

— Юрий.

— А фамилия?

— Коляджин.

— Вы что, грек, что ли?

— Нет, украинец.

Маяковский написал:

«Моему критику Стефану Юрьевичу Коляджину — В. Маяковский. Краснодар».

Прошло пять лет.

Я окончил Ленинградский государственный университет, и по запросу Дмитрия Андреевича Фурманова биржа труда направила меня на работу в Госиздат.

Большая комната в Госиздате. Четырнадцать столов. За каждым столом — редактор. В углу — стол редактора классической литературы Д.К. Однажды Маяковский зашел в нашу комнату. Завязался литературный спор — сейчас я уже не помню, по какому поводу. Во время этого спора К. пренебрежительно отозвался о творчестве Маяковского.

Маяковский вспыхнул:

— Да вы кто такой?

— Редактор классической литературы.

— Никакой вы не редактор! Вы — директор гимназии. Меня всю жизнь преследовали директора гимназий и библиотекари... Коленкой вас под ж... надо гнать!..

Резко повернулся и ушел.

Через несколько дней мне предстояло говорить с Маяковским по поводу одного из томов его первого собрания сочинений, редактирование которого было поручено мне.

Признаться, я очень трусил — разговор с К. не выходил у меня из головы.

В конце концов набрался смелости и позвонил.

— Что там у вас? — спросил Маяковский.

Я сказал, что в рукописи меня смущает одно слово.

— Какое? Я назвал.

— Почему?

Я стал доказывать.

— Хорошо. Я завтра зайду посмотрю... На следующий день Маяковский пришел в Госиздат. Его направили ко мне.

Маяковский долго смотрел на меня.

— Где я вас видел? — спросил он.

— Не знаю, Владимир Владимирович...

Был на ваших выступлениях в Ленинграде, в Москве...

— А еще?.. Напомните мне...

— Первый раз я видел вас в Краснодаре...

Маяковский улыбнулся и замахал руками:

— А, злейший мой критик!.. Теперь я пропал!..— И сразу: — Ну, что там у вас?

Я открыл рукопись и говорю:

— Владимир Владимирович, очевидно, ошиблась машинистка, тут какое-то не ваше слово...

— Нет, это слово мое...

— А мне кажется, что вы бы сказали как-то по-другому... — и тут же перечислил с десяток слов, которые мне казались характерными для Маяковского и для данного случая.

Маяковский слушал как-то равнодушно, а я все больше смущался. Вдруг Маяковский встрепенулся:

— Как?.. Как вы сказали?..

Я повторил те же слова, но, может быть, не в том порядке.

— Ну вот и поставьте это слово...

— В вашей рукописи я не решаюсь править своей рукой.

Маяковский улыбнулся, вынул авторучку и написал подсказанное мной слово.

— Ну, теперь все?..

— Нет, Владимир Владимирович, слова, стоящие рядом, совсем не подходят...

Маяковский прочел несколько строк, задумался, снял пиджак, повесил его на спинку стула и быстро заменил восемь коротеньких строк.

— Ну, как?

— Сейчас я не могу вам ничего сказать. Ведь вы только что написали. Нужно посмотреть свежим глазом. Завтра утром приду, прочту и позвоню вам...

— Звоните! — сказал он.— С половины восьмого я уже работаю.

На следующий день я пришел раньше обычного, но медлил со звонком, боясь разбудить Маяковского,— мне не верилось, что он встает так рано.

Наконец позвонил и сказал, что перечитал.

— Ну, как?

— По-моему, ничего.

— А по-моему, блестяще,— сказал Маяковский.— Всего хорошего! — и повесил трубку.

ЧАШКА

В Москву, после долгих лет жизни в Париже, приехала художница Евгения Александровна Ланг.

Она пришла в гости к Людмиле Владимировне Маяковской — сестре поэта. С ним художница дружила в молодости.

Среди многих картин она привезла портрет Маяковского, писанный ею в Париже по памяти.

И вот сейчас обе женщины смотрят этот портрет, никому не известный портрет молодого Маяковского.

— Я расскажу вам один случай,— говорит Евгения Ланг.— Он особенно памятен мне... Зимой 1918 года Володя и я гуляли по Москве. В то время Москва была наводнена аукционами: распродавалось имущество буржуазии — антикварные вещи, дорогая мебель, меха, ковры. Заходим на какой-то аукцион,— Маяковский ведь был очень азартным и его часто можно было встретить на аукционах.

Помню, разыгрывалась кофейная чашка, не редкая и не очень дорогая. Маяковский взглянул на нее и замер от восторга: чашка понравилась ему. Он стал торговаться. Назначил цену. Но какой-то человек тут же перебил ее. Маяковский набавил, но снова тот же бесстрастный голос, и снова — повышение.

Играть дальше он не мог, у него не было денег, и, возбужденный, он обратился ко мне:

«У тебя есть деньги?.. Одолжи...»

Я порылась в сумочке, выгребла все, что было, но денег,

чтобы продолжать игру, не хватило, и чашка «уплыла».

Маяковский молча вышел из аукциона и быстро зашагал своими огромными шагами. Я шла сзади, еле за ним поспевая. Я знала его нрав и поэтому не решалась ни сочувствовать ему, ни уговаривать,— в этом случае я могла получить только злую отповедь.

И вдруг за спиной Маяковского — голос незнакомого человека:

«Господин Маяковский, остановитесь, выслушайте!..»

Маяковский замедлил шаг, обернулся.

«Чего вам?» — раздраженно спросил он.

«Господин Маяковский, я ваш поклонник, позвольте подарить вам эту чашку, я видел, что она вам понравилась...»

С этими словами незнакомец отдал чашку и ушел.

Маяковский несказанно обрадовался и сразу повеселел.

«Ну, пойдем пить кофе!» — буркнул он.

У себя в номере — Володя жил тогда в каких-то меблирашках у Столешникова переулка — он сварил кофе, и мы по очереди выпили кофе из этой чашки.

Некоторое время спустя я уехала в Париж и прожила там почти сорок четыре года...

Евгения Ланг умолкла, погруженная в какие-то свои мысли.

— Погодите минутку,— сказала Людмила Владимировна и вышла в другую комнату.

Вскоре она возвратилась.

— Вы о ней говорили? — спросила Людмила Владимировна, показывая чашку.

Губы Евгении Ланг дернулись, на глазах появились слезы.

— Да,— тихо проговорила она.

— Я ничего этого не знала,— заметно волнуясь, сказала Людмила Владимировна.— Я хранила эту чашку как память о Володе и никогда ею не пользовалась — боялась разбить. А теперь... Теперь давайте сварим кофе и выпьем из этой чашки... выпьем по очереди — так, как вы пили тогда в меблирашках...

ПЕРВАЯ ОТЛИВКА СТАЛИ

У меня в руках — один из первых авторских экземпляров романа Николая Островского «Как закалялась сталь». На титульном листе — надпись: «Марку Колосову — моему соратнику и редактору этой книги, «братишке» и другу. Н.Островский. Сочи. 1932 год».

Я долго смотрю на книгу и думаю о великой жизненной силе этого произведения, о его удивительной судьбе...

...В морозный февральский день 1932 года в редакцию журнала «Молодая гвардия», которая помещалась в Большом Черкесском переулке, вошел, слегка прихрамывая, опираясь на палку, старик.

— Моя фамилия — Феденёв,— сказал он, обращаясь к редактору журнала Марку Колосову, и с этими словами протянул ему объемистую рукопись. На заглавной странице было написано: «Как закалялась сталь» и стояла фамилия автора — Н.Островский.

К рукописи была приложена рецензия литературного консультанта издательства «Молодая гвардия».

Иннокентий Павлович Феденёв, обратив внимание Колосова на эту рецензию, с горечью сказал:

— Я никак не могу согласиться с такой рецензией. Может быть, я не очень хорошо разбираюсь в художественной литературе, но по опыту партийной работы могу сказать, что эта книга сыграет большую роль в деле коммунистического воспитания молодежи. Возможно, она требует шлифовки, отделки... Но ведь и сам автор считает свою работу только первой отливкой стали...

Иннокентий Павлович кратко рассказал Колосову биографию автора — биографию комсомольца, участника гражданской войны, потерявшего в борьбе за советскую власть здоровье.

— Для Островского,— заключил Феденёв,— эта книга не только литературное произведение... Это — путь, чтобы снова вернуться в строй действующих борцов за коммунизм.

Впоследствии выяснилось, что Иннокентий Павлович Феденёв был прототипом одного из героев романа — Леденёва.

Образ старого большевика Леденёва тепло выписан Островским. Это с ним в санатории «Красная Москва» Павел Корчагин играл в шахматы, это он советовал Корчагину написать книгу о своей жизни.

Колосов прочитал рецензию. Консультант упрекал автора не только в художественной беспомощности, но и в незнании... комсомольской жизни. Так, например, консультант считал нетипичным, нехарактерным, что рабочий паренек Павка Корчагин влюбляется в гимназистку Тоню Туманову. Конечно, отмечал рецензент, такие случаи бывали в жизни, но они нетипичны. Надо, чтобы рабочий парень полюбил бы рабочую девушку. По мысли автора, писал далее консультант, книга должна показать героизм комсомольцев в гражданской войне. Но какие же героические подвиги совершает на войне Павел Корчагин? Он не пробирается в тыл врага, не взрывает склады с боеприпасами, не приводит е плен офицера. В одном из боев он

оказывается тяжело раненным, а потом становится инвалидом. Это тоже нетипично, потому что не все комсомольцы, побывавшие на гражданской войне, возвратились с войны инвалидами. Нетипичной показалась рецензенту и сцена в парке, где Павел Корчагин побеждает в себе пришедшую к нему мысль о самоубийстве. В романе слишком много внимания уделяется индивидуальной судьбе комсомольца. В книге мало обобщений. Роман надо переделать в соответствии с этими замечаниями, заключал свою рецензию консультант.

Прощаясь, Феденёв настоятельно просил Колосова прочесть роман и сказать ему свое мнение.

В тот же вечер Колосов стал читать рукопись. С каждой новой страницей, с каждой новой главой роман все более захватывал его. Он так увлекся, что не заметил, как прошла ночь. Роман Островского необычайно взволновал Колосова. Для него было совершенно ясно, что «Как закалялась сталь» является именно тем произведением, которого так страстно ждала тогда литература. Правда, в романе были стилистические неровности, но его композиция, характеры героев, их язык, их портреты были выписаны так правдиво, так жизненно, так волнующе, что невозможно было оторваться от книги. В превратностях индивидуальной судьбы автору удалось запечатлеть типические черты советского молодого человека, создать яркий характер, показать подлинного носителя коммунистической морали.

Через несколько дней состоялась встреча Колосова с автором.

Николай Островский жил тогда в Мертвом переулке, в доме №12. Теперь этот переулок носит имя Островского. В узкой длинной комнате, по соседству с кухней, Колосов увидел высокого молодого человека в защитной гимнастерке. Он лежал на походной кровати. Лицо Островского, в отличие от его неподвижного тела, было очень живым, выразительным, подвижным и совсем не походило на портреты, которые мы знаем.

Когда Колосов вошел, Островский предложил ему сесть возле себя. Он взял его руку и крепко сжал ее.

— Говори всю правду,— сказал он,— что ты думаешь о моей рукописи? Победа или поражение? Если победа — больше говори о недостатках; о достоинствах скажет читатель. Ты — редактор, и ты должен говорить о недостатках...

Пока Колосов высказывал Островскому свое мнение, тот не выпускал его руки из своей.

Потом отпустил и с лукавой улыбкой спросил:

— Знаешь, почему я не выпускал твою руку?

— Почему?..

— Потому, что я тебя не вижу... Когда я хорошо видел, я проверял искренность и правдивость собеседника по его глазам. Ведь глаза выдают неправду... Но теперь, когда я не вижу лица, я проверяю искренность и правдивость собеседника рукопожатием. Я хотел тебя проверить: где, в каком месте критического разбора моей рукописи твоя рука дрогнет? Для меня это означало бы, что ты, видя мою разрушенную физическую оболочку, усомнился в силе заложенного в ней комсомольского духа и не решился сказать мне о недостатках моего труда. Но ты говорил со мной честно, как комсомолец с комсомольцем, и теперь я считаю тебя своим другом.

Когда автор и редактор подробно обсудили, какие места в романе следует доработать, Колосов сказал Островскому.

— Николай, два года ты работал в очень трудных условиях. На девяносто процентов роман сделан. Теперь требуется только шлифовка, отделка... Ты имеешь право на отпуск. Мы подпишем с тобой договор, поезжай в Сочи, отдохни, наберись сил для новой работы... Мы сами отредактируем рукопись и сдадим в набор...

Островский нахмурился. Колосов не сразу понял, что преобладало в этом выражении его лица — обида или возмущение.

— Ты предлагаешь, чтобы кто-то за меня и без меня довел до конца мой труд? — сказал он.— Ну, а если бы ты предложил хорошему советскому рабочему, чтобы кто-то за него отшлифовал его деталь? Он наверняка бы обиделся! Ведь в шлифовке, в отделке вещь приобретает свою окончательную ценность. В этом — гордость мастера, и ты хочешь меня лишить ее? А кроме того, для меня труд — верное оружие в борьбе с моим заклятым врагом — моей болезнью. Я не уеду в Сочи, пока роман не будет подготовлен к печати. Я сам, своей рукой должен исправить все его недостатки...

И Островский не уехал в Сочи, пока не была закончена вся редакционная работа над рукописью.

С апреля по июль 1932 года — в четырех номерах журнала «Молодая гвардия» — печатался роман Островского «Как закалялась сталь».

Вскоре был получен первый читательский отклик.

Николай Островский жил в Сочи. Письмо это он не мог прочесть. Он лежал недвижимо, тяжело больной. Невидящие глаза он обратил туда, где покачивались вершины кипарисов, к знойному голубому небу. Тревожно-нетерпеливо он ждал, чтобы ему прочли: принят ли, отвергнут ли людьми его труд?

Вот оно, это первое читательское письмо. Я привожу его без изменений: «Николай, братишка! Пишет тебе незнакомый слесарь

Краснодарского депо. Уже пять часов утра, а я только что кончил читать про твоего Павку. Я так его полюбил, что всех его врагов прокалывал пером, и до того проколол весь журнал, что теперь сижу и думаю, как его отнести в библиотеку? Но не думай, что если я не спал ночь, а мне в 6 утра на работу, то я там буду клевать носом; нет, я буду работать вдвое, втрое лучше. Этому меня научил твой Павка!»

Островский взял в руки письмо и долго держал его, как бы ощупывая невидимые строки.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Минуло три месяца с того дня, как Николай Островский сдал издательству художественной литературы свой роман «Рожденные бурей».

Для каждого писателя «пауза» между окончанием романа и выходом в свет книги всегда бывает волнующей и тревожной. Островский переживал эту «паузу» особенно мучительно и нетерпеливо: с каждым днем он чувствовал себя все хуже, силы уходили, физические страдания становились невыносимыми. И хотя Островского ежедневно навещали друзья, хотя у его постели часто играли музыканты и пели певцы, чтобы немного развлечь писателя, мысль Островского — жадная и неугомонная — все время обращалась к будущему роману.

...Был пасмурный декабрьский день 1936 года. В кабинет директора издательства Николая Никандровича Накорякова вошли заведующий редакцией художественной литературы писатель Виктор Кин и начальник производственного отдела.

— Сейчас звонили из Союза писателей,— в волнении проговорил Накоряков.— Островскому совсем плохо... В каком положении «Рожденные бурей»?..

— Уже есть чистые листы,— ответил начальник производственного отдела.— Дней через десять получим сигнал...

Накоряков задумался. С минуту он молчал, потом сказал:

— Друзья, есть небольшое предложение... Дорог буквально каждый день... Доставим Островскому радость... Может быть, последнюю... Давайте быстро подберем листы, переплетем их и сделаем нечто вроде сигнального экземпляра... Боюсь, когда придет типографский сигнал, будет уже поздно...

— Замечательная мысль, Николай Никандрович,— с жаром воскликнул Виктор Кнн, редактировавший роман «Рожденные бурей».— Непременно сделаем!..

Спустя два дня «сигнал» был готов, и Накоряков решил лично доставить его Островскому.

День выдался холодный, дождливый; зима еще не установилась, и порывистый ветер швырял в лицо заряды мокрого снега. Накоряков шел по обледенелым тротуарам и, казалось, не замечал непогоды. Он думал об Островском и в мельчайших деталях вспоминал свою первую встречу с ним в Сочи... Как он обрадовался, когда узнал, что Государственное издательство художественной литературы собирается выпустить роман «Как закалялась сталь» массовым тиражом!

— Это будет здорово,— сказал тогда Островский.— Я получаю много писем, товарищи жалуются: нигде нет книги...

И чем больше думал Накоряков, тем быстрее память подсказывала ему все новые подробности, факты, эпизоды... Переписка с Островским. Два больших письма о его работе над «Рожденными бурей»... «...Все эти месяцы в Сочи,— писал Островский,— я работал с большим напряжением всех своих духовных и физических сил. Здоровье мое разрушается с обидной быстротой, и работать становится все труднее. И все же первый том написан. Хорошо ли, плохо ли — судите сами. Будьте суровы и беспристрастны. Судите без скидки на объективные причины и прочее...» Затем — приезд Островского из Сочи в Москву, совещание у его постели о новом романе... С какой заинтересованностью выслушивал он замечания товарищей по перу о своем романе!..

...Вот и Тверская, квартира Островского — две небольшие комнаты над бывшим магазином Елисеева. Накоряков быстро поднялся по каменным ступеням на второй этаж и узким полутемным коридором прошел в маленькую комнату. Островский, худой и бледный, недвижно лежал на железной кровати головой к окну.

Узнав о приходе Накорякова, Островский оживился:

— Я рад, очень рад... — произнес он слабым голосом.

— Вот, Николай Алексеевич, сигнал «Рожденных бурей»,— сказал Накоряков, присаживаясь у постели Островского и передавая ему книгу.— Через несколько дней будет тираж...

Островский бережно взял книгу и с какой-то особой нежностью прижал ее к груди.

— Как хорошо! — прошептал он.

«Сигнал» романа «Рожденные бурей» был последней радостью Островского.

ПОДСНЕЖНИКИ

Николай Дмитриевич Телешов долго и тяжело болел. Он лежал в своем кабинете, среди дорогих его сердцу вещей, картин

и книг бледный, похудевший, осунувшийся. У изголовья, на маленьком ломберном столике, где стояли склянки с лекарствами, лежала папка с рукописями. Одни были опубликованы много лет назад, другие не печатались вовсе, и взыскательный к своим произведениям Телешов нет-нет да и вносил в них поправки; то вычеркнет слово, то изменит диалог, то заново напишет целую фразу.

Силы Николая Дмитриевича угасали. С каждым днем ему становилось все хуже, но временами болезнь отпускала его, и тогда, чувствуя некоторое облегчение, девяностолетний писатель вновь принимался за работу.

Однажды вечером он позвал сына.

— Была ли сегодня почта, Андрюша?

— Три письма,— сказал сын.

— Прочти.

Одно письмо было от артиста Штрауха, другое — от полковника Веденякина из Ленинграда — письма читателей, выражавших автору «Записок писателя» трогательную признательность за его книгу.

Автором третьего письма был некто Калинин — житель Старого Крыма.

«...У нас теперь весна,— сообщал Телешову его крымский знакомый.— Ярко светит солнце. Тепло. На днях появились подснежники. Я посылаю вам три подснежника. Ведь вы любите эти цветы... Пусть же они напомнят вам Крым, ласковое Черное море и вашего друга Чехова, с которым вы не раз встречались в Крыму...»

Лицо Телешова дрогнуло. Длинными старческими пальцами он осторожно взял подснежники, долго смотрел на них, потом улыбнулся и, обернувшись к Андрею, сказал слабеющим голосом:

Верно. Я очень... очень люблю подснежники...

Это были последние его слова...

СОКРОВИЩЕ

У Шаляпина был объемистый кожаный портфель, оклеенный множеством пестрых ярлыков — памятных ярлыков туристских фирм, отелей, пароходных компаний, стран и городов, в которых гастролировал артист. Все годы, прожитые за границей, Шаляпин возил портфель с собой, никому его не доверял и почти никогда не выпускал из рук.

В портфеле, вместе с самыми необходимыми вещами, лежал небольшой ящичек. Не только люди, работавшие с Шаляпиным —

администраторы, концертмейстеры, секретари,— даже родные не имели ни малейшего представления о его содержимом. Они лишь недоумевали, наблюдая, как Шаляпин, приезжая в новый город и входя в приготовленный ему номер, прежде всего бережно вынимал из портфеля ящик и ставил его под кровать.

Зная крутой нрав Шаляпина, никто не осмеливался расспрашивать его о ящике. Когда однажды в каком-то южноамериканском городке не в меру услужливый администратор попытался перенести ящик в угол комнаты, Шаляпин рассвирепел и, не говоря ни слова, тут же водворил его на прежнее место.

Это было таинственно и непостижимо.

После смерти артиста его вдова — Мария Валентиновна Шаляпина — вскрыла ящик,— он был наглухо, почти герметически, заколочен.

И тайное стало явным.

В нем оказалась горсть земли, взятой Шаляпиным перед отъездом за границу с могилы своей матери,— горсть русской земли.

РАССКАЗ О НЕПОЛУЧЕННОМ ИНТЕРВЬЮ

Незадолго до 125-летнего юбилея Малого театра я послал письмо Александру Алексеевичу Остужеву с просьбой принять меня. Мне хотелось побеседовать с замечательным артистом, сфотографировать его и написать о нем очерк. Этим материалом я предполагал откликнуться на юбилей театра, которому Остужев отдал пятьдесят лет жизни. Уже довольно продолжительное время Александр Алексеевич не играл, оставив сцену из-за поразившей его глухоты. Имя Остужева редко появлялось в печати, жил он уединенно в своей квартире в Большом Южинском переулке и с увлечением слесарничал, находя в этом молчаливом труде отдых от тяжкого сознания своей инвалидности,

Прошла неделя-другая после моего письма,— Остужев молчал. Я подумал уже, что письмо либо затерялось, либо, не встретив сочувствия, осталось лежать без ответа.

И вдруг — телефонный звонок Ираклия Андроникова:

— Я звоню по поручению Александра Алексеевича Остужева. Мы с ним находимся в одной палате в Боткинской больнице, Письмо ваше Александр Алексеевич получил. Он благодарит вас за внимание и просит навестить его.

После разговора с Андрониковым я весь день находился в приподнятом настроении. Перспектива увидеть Остужева, говорить с ним, фотографировать его волновала меня. Я

вспоминал до мельчайших подробностей две мимолетные встречи с Остужевым за кулисами Малого театра, когда мне удалось сфотографировать Александра Алексеевича на репетиции «Короля Лира». Я вспоминал Остужева в различных спектаклях, которые мне посчастливилось видеть, и явственно слышал неповторимый остужевский голос — голос необъятной трагедийной силы, захватывавший и потрясавший зрителей.

Утром я был в Боткинской больнице.

Я увидел Остужева на скамье в тенистой аллее возле белого больничного корпуса. Он был все такой же, как несколько лет назад, полный мужества и величия, но поседевший, бледный и задумчивый,— только что он перенес тяжелую болезнь сердца, едва не стоившую ему жизни.

Мягко улыбнувшись, Остужев предложил мне сесть рядом.

— Простите, что я не ответил вам сразу, но сами видите, в каком я положении... — он красноречиво развел руками.

Я напомнил о своем письме. Остужев сказал:

— Не надо ничего обо мне писать...

— Вы возражаете?

— Категорически.

После этих слов, сказанных Александром Алексеевичем так решительно, я понял, что мой замысел написать об Остужеве может остаться неосуществленным. Тогда я сказал Остужеву, что он — один из самых любимых советским народом артистов, что юбилей Малого театра — это и его, Остужева, праздник, наконец, говорил я, читатели будут рады узнать, как Остужев живет...

Александр Алексеевич терпеливо и внимательно выслушал и ответил:

— Эх, если бы вы видели меня на сцене лет эдак тридцать тому назад!.. — Голос его вдруг осекся... И в этих словах Остужева, в той взволнованной интонации, с которой он их произнес, я почувствовал и тоску об ушедшем времени и гордость за то огромное наслаждение, какое он доставлял людям.

Чуть помолчав, Остужев потер виски и заговорил:

— Театр всегда ассоциировался у меня с необычайно высокой горой, уходящей в поднебесье, покрытой ледниками от подошвы до вершины. Истинное искусство, казалось мне, лежит далеко, на самой вершине. Всю свою жизнь, более полувека, я стремился взобраться на эту вершину. Я карабкался, падал, но поднимался и вновь медленно, шаг за шагом, отвоевывал у горы метр за метром. Не мне судить, достиг ли я заветной вершины. Скажу лишь, что я стремился ее достичь. И вот я почувствовал, что дальше идти у меня нет сил. И я ушел из театра. Ушел сам. Ушел сознательно. Это большая трагедия — будучи живым, стать

мертвым, ибо для актера не играть — значит умереть. Поэтому всякое воспоминание о театре вызывает во мне боль...

Мы сидели молча. Через несколько минут я вновь обратился к Остужеву. Я попросил его разрешения опубликовать эти мысли.

— Остужев умер... — коротко заключил он.

Так я и не получил интервью.

Великий трагик в своей великой скромности считал, что если он и был интересен людям, то это было давно, там, в театре, а сейчас... сейчас, если он не движется к своей «заветной вершине», то он и не стоит того, чтобы о нем говорили, а тем более писали...

— Разрешите хотя бы сфотографировать вас,— попросил я.

Остужев не выразил согласия, но и не возражал, и я сфотографировал Александра Алексеевича в той позе, в какой он сидел.

Мы простились. Издали я наблюдал за ним. Остужев поднялся и направился на прогулку. Он медленно прохаживался по аллее, глядя на посыпанную желтым песком дорожку.

С тех пор я несколько раз встречал на улицах Остужева. Мы здоровались, иногда вспоминали наш разговор в тенистой аллее Боткинской больницы, при этом Александр Алексеевич застенчиво улыбался, как бы прося извинения за то, что не смог удовлетворить моей просьбы.

ПОДВИГ

«Много за выпавшую мне долгую жизнь наслушался я сетований и сожалений о том, что вот, мол, постепенно никого из близких свидетелей и очевидцев мучительной жизни Лескова уже и не сохранилось, что при установленном уже отсутствии личных дневниковых его записей отпадает всякая надежда на возможность появления сколько-нибудь цельной его биографии.

Волею судеб в моем лице сохранился последний близкий свидетель трудного жития Лескова.

В меру моих сил старался я дать проверенную биографию его».

Такими словами заканчивает Андрей Николаевич Лесков свою книгу «Жизнь Николая Лескова» — книгу о своем отце, замечательном русском писателе Николае Семеновиче Лескове, названном А.М.Горьким «волшебником слова».

Книга А.Н.Лескова, давно уже ставшая библиографической редкостью, принадлежит к числу таких произведений, к которым часто возвращаешься, в которых всякий раз находишь новые краски и открываешь новые мысли. Она написана великолепным

русским языком — ярким, образным, точным, во многом напоминающим язык самого Лескова. Книга изобилует важными документами, письмами Лескова и письмами к нему его корреспондентов, редчайшими, частью забытыми и совсем неизвестными материалами, «семейными и несемейными записями и памятями». И, глядя на указанную в «выходных данных» цифру — 10 000 экземпляров,— горько сожалеешь, что только очень узкий круг читателей имеет возможность насладиться подвижническим, вдохновенным трудом Андрея Лескова.

Я пошел «по следам» этой книги.

В Ленинграде, в высоком сером доме на площади Революции, в небольшой, скромно обставленной квартире на шестом этаже, я познакомился с вдовой А.Н.Лескова — Анной Ивановной, «незаменимым по знанию темы и материала, неустанным сотрудником» писателя. Она рассказала мне о жизни Андрея Николаевича, о том, как он работал над книгой.

Трагична история книги, необычна биография ее автора.

Андрей Лесков в прошлом — офицер старой русской армии. Крупный военный специалист, он к концу первой империалистической войны был уже в чине полковника. В дни Великой Октябрьской социалистической революции Лесков в числе других русских офицеров перешел на сторону Красной гвардии. Все свои силы, обширные знания и большой опыт он в течение многих лет отдавал делу строительства и укрепления советских Вооруженных Сил, Он был автором первого Устава советских пограничных войск.

Еще находясь на военной службе, Андрей Николаевич начал собирать материалы об отце, разыскивая их у частных лиц, в архивах и хранилищах. Десятки лет он отдал на сбор «Лесковианы»: документов, писем, фотографий, рукописей и «растерянных» — бесподписных работ писателя. Неиссякаемой была энергия этого человека, сумевшего собрать сотни писем Лескова, в свое время адресованных писателем разным лицам.

В тридцатых годах, выйдя в отставку, Андрей Лесков всецело посвятил себя публикации материалов о своем отце. В 1932 году он начал писать большую книгу, посвященную жизни Николая Лескова. В 1936 году книга была окончена. А.М.Горький сердечно отнесся к этой работе и рекомендовал ее к изданию. В сентябре 1941 года в осажденном Ленинграде подписанная к печати рукопись погибла. Погиб и второй ее экземпляр. Уцелели лишь незначительные отрывки, публиковавшиеся в разное время в периодических изданиях.

В 1942 году Андрей Лесков с женой, пережив мучительную блокадную зиму, был в тяжелом состоянии вывезен из Ленинграда в Москву. В числе самых необходимых вещей, которые они смогли взять с собой, были пишущая машинка, кое-что из носильного платья и некоторые автографы Лескова. Но главным, наиболее ценным «грузом» являлась довольно тяжелая по весу картотека, помещавшаяся в двух ящичках. Эту картотеку Андрей Лесков составлял с первого дня своей работы над книгой об отце. Потеря карточек сделала бы невозможной его работу над возобновлением рукописи. Поэтому Андрей Николаевич пуще всего берег картотеку и весь долгий и трудный путь эвакуации носил ящички сам, никогда ни на минуту не оставляя их без присмотра.

Москва приветливо встретила сына выдающегося русского писателя. На Можайском шоссе Лесковым была отведена квартира. Отзывчивые соседи снабдили Лесковых кроватями и маленьким столом, который попеременно служил то кухонным, то обеденным, то письменным. Литературовед Б.М.Другов принес им этажерку для книг и стул.

Андрей Николаевич, которому в то время было семьдесят шесть лет, превозмогая нездоровье, продолжал неутомимо трудиться. Бледного, похудевшего, сильно состарившегося, в неизменной черной шелковой шапочке, его часто можно было видеть в клубах московских фабрик и заводов, в воинских частях, на вечерах в Литературном музее, в студии Радиокомитета, где он читал доклады о жизни и творчестве Николая Лескова.

Но мысль о книге не покидала его.

— Жить мне осталось немного,— говорил он не рез,— Надо торопиться, а то и не успею...

И каждый день, с утра и до вечера, он ходил по пустынным московским улицам из одного архива в другой, из одного хранилища в другое, собирая «Лесковиану», записывая на клочках бумажек — иногда на ходу — то, что удавалось найти или вспомнить.

В 1946 году Лесковы возвращаются в родной Ленинград. В восьмидесятилетнем возрасте Андрей Лесков предпринимает гигантский труд — он начинает писать свою книгу сызнова. В неустроенной, холодной квартире, пришедшей в ветхость за годы войны, он работает со страстью одержимого. Он не обращает внимания ни на болезнь, все чаще и все острее дающую себя чувствовать, ни на трудности послевоенной жизни,— он весь во власти творчества. Через несколько лет книга рождается во второй раз, и рукопись, насчитывающая тысячу пятьсот машинописных страниц, передается издательству.

Прикованный к постели неизлечимой болезнью, причинявшей ему физические страдания, А.Н.Лесков все же находил в себе силы держать корректуру, править и дополнять текст. 87-летний старец не давал себе ни минуты отдыха. Уже умирающий, он думает не о смерти. Он звонит в издательство, разговаривает с редактором, волнуется, торопит, отстаивает «спорные» места в рукописи. Это был титанический творческий и жизненный подвиг. Но как жестоко поступила с ним судьба! Автор не увидел своего труда — Андрей Лесков скончался 5 ноября 1953 года, незадолго до выхода из печати книги, над которой он работал двадцать два года. Как солдат на поле боя, Андрей Николаевич стойко переносил физические муки и умер в молчании, никому не жалуясь, мужественно уйдя из жизни, до конца исполнив свой долг перед литературой, перед памятью отца.

Думая о жизни Андрея Лескова, о его творческом подвиге, о его талантливой книге и трагической авторской судьбе, невольно вспоминаются слова Салтыкова-Щедрина:

«Литература изъята из законов тления. Она одна не признает смерти».

КАК ПРОПАЛ РУБЛЬ

Редакция поручила мне сделать несколько фотографий Леонида Леонова, и я приехал к нему в Переделкино, где находится дачный «городок писателей».

После съемки я попросил Леонида Максимовича показать мне самое примечательное в его саду,— о нем я много слышал как о подлинной коллекции ботанических редкостей.

Я долго гулял по обширной территории сада, в котором каждое дерево посажено собственными руками писателя, взращено его любовью и его трудом. Я с увлечением рассматривал никогда не виданные ботанические диковинки, раскиданные по саду и на стеллажах в теплице,— десятки редчайших тропических растений, удивительных по красоте и форме.

Перед тем как уехать в Москву, я рискнул обратиться к Леониду Максимовичу с просьбой рассказать мне о первых его шагах на литературном поприще, о первых его знакомствах в литературном мире — это всегда бывает интересно в биографии каждого большого писателя.

Вот что рассказал мне Леонид Леонов:

— Первый «настоящий» писатель, с которым я познакомился, был Александр Степанович Яковлев. Но несколько раньше мне

привелось однажды побывать в доме другого «настоящего» писателя.

Дело было так.

Я начал свою литературную деятельность со стихов в годы пребывания в гимназии. С занятиями стихосложением я покончил в тысяча девятьсот двадцатом году, перед уходом на фронт гражданской войны, и тогда же сжег две толстые тетрадки стихов. Жалеть их не стоит, стихи были плохими и, по моде тех лет, сильно заражены символизмом.

Трагическому сожжению сему предшествовала вполне комическая история.

По окончании гимназии, в тысяча девятьсот восемнадцатом году, я испытал неотложную потребность показать какому-нибудь авторитетному литератору свое рукоделие, дабы оно, это авторитетное литературное имя, изрекло мне соответствующее авторонаправляющее суждение.

После долгих сомнений я отправился на Первую Мещанскую, в дом номер тридцать два, где жил В.Я.Брюсов. Этот дом стоит и сейчас, совершенно такой же, каким был розно сорок лет назад, и каждый раз, когда я проезжаю мимо, я вижу себя в длинной, плохого качества темно-серой шинели, с набором моих поэтических творений входящим в ворота этого дома.

Я вошел со двора и позвонил. Старая кухарка, помнится, даже в наколке, не пуская за порог, объявила, что «Валерий Яковлевич никого в целом свете не принимает». По советам сведущих людей, я немедленно вручил ей рубль, и она, вдруг подобрев, оговорилась:

— В пятницу приходи... Много вашего брата шатается к Валерию Яковлевичу по пятницам...

Я отправился к нему в указанный день с соответствующим трепетом, потому что имя Валерия Брюсова стояло в ту пору очень высоко на поэтическом Олимпе и книжки его я аккуратно покупал на деньги, заработанные уроками.

Памятуя наставление кухарки, я смело, как бросаются в прорубь, открыл дверь и вступил в большой и, как я вижу его теперь, отделанный в мавританском стиле вестибюль с какой-то висящей галерейкой впереди.

Чувствовал я себя, естественно, как пациент в приемной зубоврачевателя: и хотелось, потому что сомневался в себе очень, и жутковато было. Я выстоял долгую минуту, но никто не показывался. Тогда я позволил себе кашлянуть для привлечения внимания, и тотчас же на галерейке, прямо передо мной, показалась строгая, надменного вида дама, которая, увидев меня,

закричала голосом, памятным мне доныне:

— Куда вы пришли?.. Что вам надо?.. Уходите немедленно отсюда!..

Произнесено сие было в столь убедительном тоне, что я немедленно и, правду сказать, не без удовольствия удалился.

Так пропал мой рубль.

С тех пор никому, никогда, ни при каких условиях я рукописей своих не показывал и ничьими наставлениями или поправками не пользовался. Настоятельно советую молодым литераторам придерживаться того же правила.

Основываясь на тех торопливых образцах своего чисто мальчишеского творчества, приводить которые остерегусь, я явственно слышу теперь, что мог бы сказать мне о них зрелый, своенравный и чрезвычайно трудолюбивый писатель. Несомненно, его суждение травмировало бы меня надолго, а я развивался как литератор с большим опозданием и лишь года три-четыре спустя приступил к первым своим рассказам, которые вернее было бы назвать всего лишь пробами пера.

Рост молодого автора целиком зависит от того, в какой мере он сам, своими, а не чужими глазами умеет видеть собственные недостатки.

Вот и все!

ПОСЫЛКА ПРИБЫЛА В ЛОНДОН

- В самую трудную пору второй мировой воины — в сентябре тысяча девятьсот сорок второго года — В посольство Советского Союза в Лондоне прибыла посылка. Она была адресована послу, и сотрудник, разбиравший почту, немедленно вручил ее Ивану Михайловичу Майскому. Он вскрыл посылку и не без удивления обнаружил между двумя листами толстого картона... ноты.

Это была партитура Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, написанной в Ленинграде в первую блокадную осень,— партитура мужественного и страстного произведения, проникнутого светлой верой в победу над фашистскими захватчиками. На заглавной странице Майский прочел надпись, сделанную мелким почерком композитора: «Дорогому Бернарду Шоу на память о Шостаковиче, 19 сентября 1942 г., Москва».

В письме, которое было приложено к нотам, Шостакович просил посла передать партитуру Бернарду Шоу. Майский тотчас исполнил просьбу композитора, а спустя два дня в кабинете посла раздался телефонный звонок. Говорил Шоу:

«Дорогой Майский, благодарю вас за подарок. Он мне очень приятен. В этом факте я вижу символ глубокого единения всех

людей творческого труда в борьбе против чудовища гитлеризма...»

Шоу произнес эти слова с необычайной для него теплотой в голосе...

Академик Иван Михайлович Майский прервал рассказ и задумался. Он молчал, погрузившись в воспоминания тяжелых военных лет. В эти минуты мне показалось, что он с обостренной отчетливостью видит тот ненастный осенний лондонский день, когда в посольство прибыла своеобразная фронтовая весточка Шостаковича, слышит голос Шоу, ощущает незримые духовные нити, связывавшие двух этих великих людей в борьбе против общего врага.

— Я не знаю истинных мотивов, побудивших Шостаковича принести Бернарду Шоу столь ценный дар,— после некоторой паузы в раздумье проговорил Майский.— Скажу только, что это не было обычным памятным подарком одного художника другому. Значение дара Шостаковича неизмеримо шире и глубже. Я уверен, что композитор хотел в музыкальных образах рассказать Бернарду Шоу о том, какую горькую чашу страданий пришлось испить ленинградцам в этой войне...

...В домике Шоу в местечке Айот-Сент-Лоуренс, в Хертфордшире, в котором долгие годы жил и в котором скончался «один из самых смелых людей Европы», и сегодня можно увидеть подарок Шостаковича. Он бережно хранится близкими Шоу людьми.

«АЛЕКСАНДР ПУШКИН»

В семейном альбоме писателя Ивана Алексеевича Новикова хранится маленькая фотография. На ней изображен летчик-истребитель Юрий Горохов.

Всякий раз, когда в минуты раздумья писатель просматривал альбом, как бы листая страницы своей жизни, когда взгляд его останавливался на этом снимке, он вспоминал годы войны, Урал, эвакуацию...

...Во время Великой Отечественной войны Иван Алексеевич жил в Свердловске. Здесь он работал над романом «Пушкин в изгнании» — основным своим произведением последних двадцати лет. Напряженная работа над новыми главами, тщательная отделка ранее написанных чередовалась с публицистическими статьями, новыми стихами, размышлениями о писательском труде.

Но не только литературная работа составляла смысл его

духовной жизни в эвакуации. Была у него заветная мысль. Он не делился ею ни с кем. Ей отдавал он силы своей души и сердца. Часто Иван Новиков выступал на заводах Урала, в клубах, дворцах культуры. Он читал лекции и доклады о великом русском поэте, читал отрывки из своего романа. Средства, поступавшие от этих выступлений, писатель откладывал на особый счет. Так продолжалось около года. Наконец была собрана солидная сумма. Настал момент, когда Новиков мог выполнить давно задуманное. И вот он приобретает самолет-истребитель «Лавочкин-5».Но как назвать его? Конечно, именем любимого поэта, Вскоре на фюзеляже появляется надпись: «Александр Пушкин». Проходит несколько дней, и в Свердловск приезжает «хозяин» самолета — летчик Юрий Горохов. Иван Алексеевич знакомится с пилотом и тепло провожает его на фронт.

Иван Новиков держит связь с Гороховым. Он радуется письмам летчика. Сбит первый самолет противника, сообщает Горохов... Сбиты еще два самолета... Еще три... И еще три вражеских машины...

Как были дороги сердцу писателя эти строки, написанные Гороховым, быть может, в землянке, в перерыве между жаркими воздушными боями!.. В эти минуты ему приходили на память бессмертные строки:

Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных,
Сердца их мщеньем зажжены.

«ЛИШЬ ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ...»

В июне 1942 года фашисты начали наступление на юге. Пал Севастополь, жестокие бои шли за Воронеж. Под дробь барабанов и медь фашистских маршей в эфире звучали бахвальные речи гитлеровских генералов. «Конец России! Конец коммунизму!» — самонадеянно вещали они. В лагере военнопленных под Минском царило подавленное настроение — тысячи пленных в тоске и тревоге переживали горечь военных неудач.

В эти тяжелые дни в лагере появилась маленькая рукописная газета «Пленная правда». «Орган советской совести и непродажной чести»,— говорилось в ее подзаголовке,— «десятидневная газета бойца». Эпиграфом к газете служили строки из Гёте: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой».

«Пленная правда» передавалась тайком по лазаретным

койкам и по нарам рабочего лагеря. Она клеймила предателей, продававших Родину за котелок баланды или буханку хлеба. Она призывала к сплочению, к побегам из плена, обрушивалась на лагерных воров, нагло обкрадывавших пленных. Каждая строка этой газеты поднимала гражданское сознание людей, вдохновляла их, вселяла уверенность в разгроме фашизма, в победе Красной Армии.

«В нашем сознании, в наших умах,— писала газета,— неугасимо теплится искра нашей единственной правды, объединяющей наши сердца, сердца родных братьев и сестер — детей одной матери-Родины. Эта наша правда заключается в сознании того, что наша стране победит врагов, выбросит вон всех насильников и бандитов и станет снова свободной. Мы знаем, какие бы успехи ни имел временно наш враг — конечная победа за нами!»

«Гражданин СССР!.. Это высокое звание не может отнять у меня никто. Отнять это звание можно, лишь вырвав сердце из груди».

Газету делал известный писатель Степан Злобин — ее единственный автор, редактор и «издатель». Укрытый плащ-палаткой вместе с лампочкой и столом, он писал газету в течение трех ночей. За три ночи ему удалось «выпустить» «Пленную правду» тиражом в три экземпляра. В те опасные ночные часы Злобина охраняли от внезапного налета гитлеровцев надежные и бесстрашные товарищи, с которыми борьба в плену против фашистов связала писателя нерасторжимой солдатской дружбой.

Через несколько дней после выхода первого номера газеты Злобин был схвачен гестапо и отправлен в лагерь смерти в глубь Германии. Он не знал, конечно, куда девались выпущенные им три экземпляра «Пленной правды», и был убежден, что весь «тираж» безвозвратно погиб. Между тем в августе 1949 года какой-то мальчик обнаружил один экземпляр этой уникальной газеты в мусоре строительной площадки на Логойском тракте под Минском и передал находку в местный музей Великой Отечественной войны. Там она и хранится среди дорогих сердцу каждого советского человека реликвий. Случайно писатель услышал, что экспонат под номенклатурой «Пленная правда» выставлен в Минском музее Великой Отечественной войны. Злобин обратился с запросом в музей, и вот...

...В квартиру № 124 высотного дома на Котельнической набережной вошел почтальон. Он протянул писателю большой пакет. В нем оказались... фотокопии «Пленной правды»!

Шестнадцать лет спустя Злобин смотрел на эту газету так, будто видел ее впервые, будто не он, а кто-то другой писал ее в те

полные напряжения лагерные ночи... Он вчитывался в каждую строку, от волнения дрожали губы, буквы двоились и туманились перед глазами...

Я пришел к С.П.Злобину, чтобы познакомиться с «Пленной правдой», с обстоятельствами ее «издания».

Прошло уже довольно много времени, а я все сидел в рабочем кабинете писателя и с волнением читал, перечитывал и не мог оторваться от этого необычного и воистину героического документа в истории советской печати.

Неожиданно к Злобину пришли два неизвестных мне человека.

— Знакомьтесь с моими друзьями,— сказал писатель.— Вот этот товарищ все ночи охранял меня, когда я писал «Пленную правду»...

ИСТОРИЯ ДВУХ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

На письменном столе Степана Павловича Злобина я увидел две записные книжки — две потрепанные тетрадки, сшитые из листков тонкой, почти папиросной бумаги. В каждой — около ста страниц, густо испещренных чернильными и карандашными записями; некоторые странички обветшали, карандашные записи местами стерлись.

Заметив, что я заинтересовался записными книжками, Злобин сказал:

— А знаете, если бы не эти тетради, мой роман «Пропавшие без вести», пожалуй, не был бы написан... В них — бесценный материал, послуживший мне основой для книги.

Я спросил:

— Константин Георгиевич Паустовский в «Золотой розе» утверждает, что записные книжки писателю не нужны, что лучшей записной книжкой является его память. Она, как сказочное сито, пропускает сквозь себя мусор, но задерживает крупинки золота... Верно ли это с вашей точки зрения?

— Я думаю, что Константин Георгиевич не совсем прав,— ответил Злобин.— Я начал было писать роман, но без своих записных книжек ничего не мог сделать. Память наша, к сожалению, не самое надежное хранилище фактов человеческой жизни, особенно деталей — существенных и характерных деталей, из которых складывается всякое реалистическое художественное произведение.

Это обстоятельство именно так рассматривалось великими художниками слова и мастерами изобразительного искусства. Ознакомьтесь с подготовительными материалами к различным

произведениям Пушкина, перелистайте записные книжки Толстого, Чехова, Короленко, просмотрите эскизные альбомы Леонардо да Винчи, Александра Иванова, Федотова, Серова... Иногда нам кажется, что те или иные события не в силах вытравить из нашей памяти ничто в мире: они как бы выжжены жизнью в наших сердцах и умах. Мне казалось совершенно невозможным забыть первые месяцы второй мировой войны, горестное отступление нашей армии, военные успехи фашистов, бесчисленные окружения, попытки отходов, прорывов и ужасы фашистского плена. Но проходит время, и заживают самые болезненные раны. Вы не найдете сейчас на моем лице шрамов, а ведь в него вонзилось несколько мелких осколков в последние минуты перед пленом и часть осколков так и осталась во мне. Так же «зарастают», так же стираются самые сильные впечатления, теснимые временем и бурными событиями последующих лет.

В тысяча девятьсот сорок первом — сорок втором годах, находясь в фашистском плену, я вел памятные записи. Тогда, конечно, я не думал, что они послужат мне основным материалом для романа. Просто писательское «нутро» заставляло меня записывать случаи, переживания, слова, собственные мысли и мысли окружавших меня людей. Позже начали рисоваться какие-то сцены, появились замыслы будущей повести или романа... Даже там, в царстве смерти, я не мог забросить перо и бумагу.

Летом сорок второго года я собрался бежать из Минского лагеря военнопленных. Часть записей я решил взять с собой и двойным сапожным швом надежно зашил их в стенку санитарной сумки. Вторую же часть я отдал на хранение друзьям. Накануне дня, назначенного для побега, они спрятали эти записки под стропилами крыши лазарета военнопленных.

Однако моему побегу не суждено было состояться. Предатель — старший врач лазарета Тарасевич — узнал о подготовке к побегу и выдал меня немцам. Я был схвачен и отправлен в глубь Германии, в лагерь номер триста четыре близ станции Якобшталь.

В лагере, во время обыска, сумке была отобрана вместе с записками. Старожилы лагеря с трогательным сочувствием отнеслись к моей литературной утрате и обещали, что так или иначе, а сумку мою разыщут,— рассказывает Злобин.— Предполагалось, что она хранится у гестаповского фельдфебеля-«тряпичника», в его особом закутке при лагерной тюрьме. Но кто же отважится проникнуть в нору гестаповца? За это сложное дело взялся учитель из Мцхеты Клементий Гигинейшвили

Много можно рассказать о твердом и мужественном поведении Гигинейшвили в плену, о том, как он заботился о заключенных товарищах, как освободил от кандалов посаженного в карцер военврача первого ранга Боборыкина, как устраивал свидания разъединенным в одиночках друзьям, чтобы те могли сговориться перед допросом о единстве показаний.

Под предлогом уборки помещения Клементию Гигинейшвили удалось добраться и до заветного помещения гестаповского «тряпичника», до его тюремной комнатушки — конторы, в которой хранились отнятые у пленных запретные вещи... Здесь на стене он увидел советскую санитарную сумку.

Она?.. Гигинейшвили отпорол ремешок, которым по краю была обшита сумка, Между подкладкой и стенкой он обнаружил листки — около сотни мелко исписанных страниц. Надо было успеть до утра зашить сумку двойным сапожным швом, чтобы похищение бумаг осталось незамеченным.

На следующий день, идя за обедом в «каменные бараки», Гигинейшвили засунул себе под белье мою записную книжку. Не говоря мне ни слова, Гигинейшвили увлек меня в уединенный пустой барак и там таинственно извлек из-под платья припрятанные записи.

«Ваши?» — спросил он у меня.

И, не слушая слов благодарности, Клементий пустился с ведром на кухню получать обед для тюрьмы.

Злоключения плена и частые повальные обыски, производимые эсэсовцами, заставили меня передать мои бумаги на хранение товарищам, ведавшим конспирацией в подпольной организации советских военнопленных. Они хранили в разных местах карты и компасы для побегов, антифашистские листовки и даже подпольный радиоприемник. Эти товарищи зарыли в землю в лагере и мои записки.

Судьба моя в плену сложилась необычно. Когда меня, как одного из организаторов антифашистского подполья, стало разыскивать дрезденское гестапо, мои товарищи, чтобы избавить от расстрела или повешения, внесли меня на носилках в санитарный поезд и в числе людей, тяжело больных туберкулезом, отправили в лагерь, расположенный на территории Польши. Разумеется, я не брал с собой свои записи, так как ехал а неизвестность: то ли к свободе, то ли на уничтожение в числе безнадежно больных.

В январе тысяча девятьсот сорок пятого года, при взятии войсками Красной Армии Лодзи, я был освобожден из плена и снова служил в действующей армии, работая в дивизионной газете.

В июле сорок пятого года, демобилизовавшись, я приехал в Москву, Прежде всего я решил закончить начатый до войны исторический роман «Остров Буян». После него я рассчитывал приняться за книгу о Великой Отечественной войне и плене. Ужасы, пережитые мною в фашистском плену, казались мне тогда неистребимыми в памяти. Я был уверен: достаточно, чтобы я оказался за письменным столом и передо мною лежала бы стопа чистой бумаги, чтобы воскресли и стали зримыми картины прошлого.

Однако при первых же попытках придать литературный характер воспоминаниям о войне и плене я столкнулся с тем, что многое стерлось в памяти и поблекло. Мне явно не хватало моих записок, которые исчезли.

Необходимо заметить, что после освобождения Минска Красной Армией друзья, считавшие меня расстрелянным фашистами и не знавшие об отправке меня в Германию, сообщили семье, что в Минске скрыты мои записки. Жена ездила в Минск, но найти их не смогла, хотя ей и был дан план чердака и места хранения... Пришлось примириться с мыслью, что записки погибли безвозвратно.

В сорок шестом году, на собрании в Союзе писателей, ко мне подошел мой товарищ, военный писатель Петр Гаврилов.

«Степан, ты, кажется, был в плену?» — спросил он.

«Был»,— небрежно отозвался я, продолжая слушать речь, помнится, Николая Асеева.

«Ты знаешь, у меня такой яркий материал о плене! — с увлечением сказал Гаврилов.— Интереснейшие записки!.. Может быть, ты сможешь помочь разыскать автора? Генерал Мансуров, под начальством которого я служил на фронте, прислал мне эти записки с Урала, где он живет теперь. Мансуров получил их в Германии при освобождении какого-то лагеря и требует, чтобы я непременно нашел автора...»

Признаюсь, я слушал, нехотя отрываясь от содержания речи очередного оратора, и если бы не настойчивость Гаврилова, я бы попросту прошел мимо вопроса об этих записках, но Гаврилов настойчиво продолжал шептать на ухо о своих неудачах и трудностях:

«Понимаешь, я пошел в адресный стол... Мне дали восемь адресов разных Баграмовых, но среди них — ни одного Емельяна...»

«Что-о?! — чуть ли не закричал я.— Как ты сказал?.. Повтори!..»

«Мне нужно найти Емельяна Баграмова,— ответил Гаврилов. — Это автор записок... Ты его знал?..»

«Петька, милый!.. — обняв его, радостно воскликнул я.— Это мои записки!..»

Надо сказать, что записки свои с прощальным письмом, обращенным к жене и сыну, я зашифровал этим псевдонимом. Он был известен моей жене. Направленные, как было адресовано, в Союз советских писателей, эти записки могли быть признаны только моей женой по псевдониму «Емельян Баграмов». Упоминать же свое настоящее имя я не мог, опасаясь, что записки попадут в руки фашистов.

Вместе с Гавриловым мы тотчас же пошли к секретарю Союза советских писателей Д.А.Поликарпову, у которого я и получил свою записную книжку, когда-то зарытую в землю в Германии.

Прошло еще года два.

Работая над окончанием романа «Степан Разин», я с женой жил в Доме творчества имени Серафимовича под Москвой.

Однажды в Дом творчества приехал белорусский писатель Кулаковский. С ним я познакомился за обеденным столом, где он оказался нашим соседом. Узнав, что он из Минска, моя жена стала расспрашивать его о том, как восстанавливается разрушенный фашистами Минск, и попутно рассказала о своих неудачах с поисками моих записей.

Я кстати присоединил свой рассказ о том, как через Петра Гаврилова ко мне возвратились записки, спрятанные в Германии.

«Баграмов?» — перебил меня Кулаковский.

«Да нет, тут дело не в фамилии... Она вам ничего не скажет», — досадливо отвел я любопытство соседа и заключил свой рассказ.

«Все?» — спросил Кулаковский.

«Да, теперь все...»

«Так вот, Степан Павлович, на днях к поэту Максиму Танку, как к члену республиканской избирательной комиссии по выборам в Верховный Совет, пришел школьник Юзик Валиковский. Он принес записную книжку, найденную им в бывшем лагере военнопленных. Танк прочел книжку и показал мне, Мы читали ее вместе в поезде по дороге в Москву. Она глубоко взволновала нас. В Союзе писателей мы спросили, был ли такой член союза — Емельян Баграмов? Такого не оказалось. Ну, мы и оставили эту записную книжку для прочтения в редакции «Нового мира». Ошеломленный сообщением Кулаковского, я на следующий день помчался в Москву.

В редакции «Нового мира» я наконец получил вторую мою тетрадку. Но в ней уже лежала полоска бумаги с надписью: «Степан Злобин». Тетрадка сама разыскала меня: автора записок узнали в редакции по упомянутым в прощальном письме именам

моей жены и сына, хотя они и были названы без упоминания фамилии. В роман «Пропавшие без вести» из этих двух записных книжек вошли без всякого изменения не только отдельные факты, зрительные детали, выражения, реплики, но даже некоторые абзацы и страницы.

СВЕРТОК

Война застала писателя Марка Ефетова в Малеевке — подмосковном Доме творчества литераторов.

В то мягкое, омытое ночным дождем июльское утро ему работалось как-то особенно легко, было тихо, в ясном, высоком небе пели птицы, из леса тянуло запахом смолы и хвои.

И вдруг — громкий стук в дверь и крик:

— Война!..

Ефетов, ошеломленный, выбежал из комнаты. Через несколько минут в гостиной, у репродуктора, собрались все обитатели Малеевки — Лазарь Лагин, Зинаида Чалая, Павел Яльцев, переводчица Спендиарова — дочь знаменитого армянского композитора — и еще кто-то.

Передавалось Заявление Советского правительства.

Услышав, что фашисты бомбили Севастополь, Спендиарова лишилась чувств — несколько дней назад она отправила своих детей в Севастополь, на дачу ее отца.

Писатели молча и напряженно слушали радиопередачу. И хотя война уже полыхала, сознание отказывалось воспринимать страшную весть: мирная жизнь кончилась.

Вскоре был подан грузовик, и писатели отправились на станцию Дорохово.

Поезд шел до Москвы мучительно долго — почти четыре часа.

Уже вечерело, когда, направляясь с Белорусского вокзала в Союз писателей, Ефетов неожиданно встретил у Никитских ворот Викентия Викентьевича Вересаева.

Старый писатель был бледен и растерян. Под мышкой он держал какой-то большой сверток, туго перевязанный веревкой.

— Не знаю, что и делать, Марк Семенович,— проговорил Вересаев, поздоровавшись.— Вот полдня ношу, нигде не берут, не могу придумать, куда отдать...

— Что это? — удивленно спросил Ефетов, ощупывая ношу,— сверток был очень тяжел.

— Здесь все наше серебро... фамильное... — сказал Вересаев. — Хочу отдать государству... Подумайте: началась такая война!..

Ефетов посоветовал Вересаеву сдать серебро в Госбанк.

— Это на Неглинной? — спросил Викентий Викентьевич.
— Да.
И Вересаев ушел.

СУДЬБА «ПОРТ-АРТУРА»

Это было в конце 1944 года. В книжные магазины Москвы поступила новая книга — историческое повествование А.Н.Степанова «Порт-Артур».

Никто не знал этого писателя, имя его впервые появилось в литературе и ничего не говорило читателям.

Между тем, как часто бывает с подлинно талантливыми произведениями, книга А.Н.Степанова быстро нашла путь к сердцу читателей, завоевала внимание критики и принесла автору большой литературный успех.

В ненастный декабрьский день 1944 года я постучал в номер гостиницы «Москва». Дверь отворил пожилой человек, на вид лет пятидесяти пяти, высокий, худой, с седыми волосами, бледным морщинистым лицом и низким грудным голосом.

Это был писатель Александр Николаевич Степанов, к которому меня привело «очередное» задание редакции.

«Очередное» задание!.. Сколько раз бывало, что, отправляясь на это так называемое «очередное» задание, я привозил в редакцию лишь сухую информационную заметку или короткое интервью, жизнь которых кончалась с выходом следующего номера газеты. Но бывало и так, что «очередной материал» вдруг засветится весь изнутри и никак «не хочет» укладываться в рамки информационной схемы.

Именно так случилось на этот раз. Спустя полчаса на столе появился отличный по тому времени завтрак — чай, хлеб, консервы. Александр Николаевич, прихлебывая густой остывший чай, рассказывал мне историю своей жизни, историю книги.

...Я перелистываю свой репортерский блокнот и читаю запись, сделанную более двадцати лет назад. Она воскрешает во мне то самое чувство, какое я испытал в памятный декабрьский день,— рассказ Степанова показался мне тогда сюжетом задуманной им фантастической повести, столь удивительной и невероятной представлялась мне и его биография, и история его книги.

Александр Николаевич Степанов родился в семье потомственных артиллеристов — его отец, дед, прадед и прапрадед были артиллеристами русской армии. За последние сто пятьдесят лет не было ни одной войны, в которой не сражался

бы кто-нибудь из семьи Степановых. Сам же Александр Николаевич участвовал в первой империалистической, гражданской и Великой Отечественной войнах.

В 1904 году ему, двенадцатилетнему мальчику, привелось быть свидетелем обороны Порт-Артура.

В годы первой мировой войны А.Н.Степанов начал службу младшим командиром гвардейской артиллерии и постепенно дошел до командира батареи. После Октябрьской революции солдаты избрали его командиром артиллерийской бригады. В 1918 году он сражался под Нарвой и всю гражданскую войну провел в рядах артиллерии Красной Армии.

В ночь на 17 марта 1921 года, во время штурма Кронштадта, Александр Николаевич был контужен разорвавшимся снарядом, провалился под лед и едва не погиб. Он тяжело заболел и 15 сентября 1921 года *был* демобилизован.

Инженер по образованию, Степанов начал работать по специальности — служил на различных заводах и стройках, преподавал в высших учебных заведениях, вел научно-исследовательскую работу.

В 1933 году болезнь на долгие месяцы приковала его к постели.

В те томительные дни, казавшиеся ему бесконечными, Александр Николаевич много передумал о событиях, свидетелем и участником которых он был.

Тогда-то он и задумал написать порт-артурскую эпопею.

Разумеется, личных воспоминаний было недостаточно. Пришлось приняться за тщательное документальное изучение эпохи. Александр Николаевич стал выписывать книги из Москвы, Ленинграда, Харькова, Воронежа, Ростове-на-Дону. Он проштудировал официальную историю русско-японской войны и изучил более двухсот русских и иностранных трудов. Писателю удалось разыскать комплект газеты «Новый край», издававшейся в осажденной крепости. Много ценных сведений дали ему и участники обороны Порт-Артура.

— Оправившись от болезни,— рассказывал Степанов,— я вновь начал заниматься инженерным делом, не прекращая, однако, работы над «Порт-Артуром», Утром я был занят чертежами, формулами, расчетами, а вечером на смену чертежам приходили исторические монографии, на смену формулам — диалоги. Не могу не отметить дружеской помощи Алексея Силыча Новикова-Прибоя. Прочитав посланную рукопись, он откликнулся теплым письмом — Алексей Силыч одобрил и поддержал меня, тогда еще совсем неопытного литератора.

Великая Отечественная война застала меня в Краснодаре, где я жил и работал. Только что была закончена вторая часть повествования. Третью часть я написал в июле — сентябре тысяча девятьсот сорок первого года. В это время гитлеровцы уже подходили к Кубани и почти ежедневно бомбили Краснодар. В такой обстановке я и закончил свой труд.

Краснодарское краевое издательство решило выпустить «Порт-Артур» во что бы то ни стало. Оккупанты были уже в Ростове-на-Дону, а в Краснодаре, нередко под бомбежкой, самоотверженно трудились наборщики, заканчивая набор последних листов «Порт-Артура». Первого января тысяча девятьсот сорок второго года вышел сигнальный экземпляр книги, к июню был напечатан тираж, а в первых числах августа фашистские орды наводнили Кубань. В последнюю минуту я вылетел из Краснодара в Москву. Все рукописи — около четырех тысяч страниц — пришлось, конечно, оставить.

Полгода тянулась над Краснодаром темная ночь фашистской неволи. Гитлеровцы уничтожили весь тираж книги. Я считал погибшими и свои рукописи. Но нашелся человек, который с опасностью для жизни сохранил мой писательский архив до последней бумажки. Это была моя ученица — инженер-технолог Мария Александровна Мишурова. Ей я обязан тем, что смог восстановить рукопись «Порт-Артура», недавно изданную Гослитиздатом.

—

Стук в дверь прервал нашу беседу. Александр Николаевич встал из-за стола и поспешил отворить дверь, Через минуту в комнату вошла молодая женщина. Представляя ее мне, Степанов сказал:

— А вот и Мария Александровна Мишурова, познакомьтесь, пожалуйста...

Я не мог себе представить, что еще тут же встречу и Мишурову, и потому несколько растерялся, услышав ее фамилию. Знакомясь, я пробормотал что-то полагающееся в таких случаях, а спустя некоторое время все-таки попросил Мишурову рассказать, каким образом ей удалось сохранить рукописи.

— В августе тысяча девятьсот сорок второго года,— начала свой рассказ Мария Александровна,— когда гитлеровцы подходили к Краснодару, Александр Николаевич вылетел в Москву. Зная, что я не могу эвакуироваться из-за тяжелой болезни матери, он попросил меня взять на хранение его рукописи. Я согласилась не задумываясь. Через несколько дней фашисты захватили Краснодар. Они сожгли весь тираж «Порт-Артура»,

считая эту книгу опасной и вредной.

Чемоданы с рукописями я зарыла в сарае. Почва в городе очень влажная, и я асе время тревожилась, как бы рукописи не испортились. Несколько раз я порывалась проникнуть в сарай и выкопать чемоданы, но сделать это было не легко — дом наш был занят гитлеровцами, которые следили за каждым нашим шагом. Попытаться выкопать чемоданы можно было только ночью, да и то с огромным риском — хранение каких бы то ни было рукописей каралось расстрелом. Темной осенней ночью я принялась выкапывать чемоданы. В это время к сараю подошли фашисты. Услышав немецкую речь, я замерла. Стоило им меня заметить, как я немедленно попала бы в гестапо. Прошло несколько томительных минут, показавшихся мне вечностью. Наконец воцарилась тишина. Я быстро выкопала чемоданы и осторожно перенесла их в квартиру.

Вскоре оккупанты выгнали нас из дома, и мы вынуждены были перебраться на другую квартиру. Конечно, вещи пришлось переносить на себе. Я несла один из чемоданов, рядом со мной шла моя маленькая дочь. На одном из перекрестков нас неожиданно остановил полицай:

«Покажи, что несешь в чемодане!» — потребовал он.

Я попала в критическое положение. Но тут из беды, сама того не сознавая, меня выручила дочь. Она держала небольшой сверток с сахаром, который я с огромным трудом достала для нее. Девочка протянула немцу свою драгоценную ношу. Полицай взял сахар и разрешил нам идти.

Оккупанты часто производили повальные обыски в поисках оружия и листовок. Пришли они и к нам. Я уже боялась зарывать чемоданы в землю и рассовала рукописи под подушки и в тюфяк, на котором лежала больная мать. Мы упросили гитлеровцев не тревожить больную, и они ограничились поверхностным осмотром квартиры и кровати, так и не обнаружив рукописей. После ухода фашистов я вновь спрятала рукописи в чемоданы.

Незадолго перед бегством из Краснодара фашисты подожгли соседний дом, подозревая, что в нем живет семья партизана. Тушить огонь они не разрешали. Загорелся и наш дом. Мы стали вытаскивать самые необходимые вещи. Я вновь перетащила чемоданы в подвал, завалив их всякой домашней рухлядью.

В день ухода из Краснодара гитлеровцы рыскали по домам в поисках чемоданов, чтобы увезти в них награбленное имущество.

Кто-то донес, что у нас есть чемоданы. Фашисты извлекли их и выбросили все бумаги на пол. Один из гитлеровцев уже ткнул в них зажженную спичку. Но тут прибежала я и бросилась подбирать листы. В этот момент на улицах послышалась

ружейная стрельба — воины Советской Армии ворвались в город. Фашисты в панике выбежали из подвала. Драгоценные для меня рукописи были спасены и через некоторое время вручены Александру Николаевичу Степанову.

СТРОКИ БОРЬБЫ

...Царь испугался — издал манифест:
Мертвым — свободу! Живых — под арест!..

Эти две строки я услышал еще в детстве и запомнил на всю жизнь. Они передавались изустно, они стали народными, вошли в наше сознание, в наше сердце.

Но, как часто бывает, я не знал, кто автор этих строк.

Недавно я познакомился с ним. Павлу Александровичу Арскому — старейшему советскому поэту, одному из первых рабочих поэтов «Правды», участнику трех революций и штурма Зимнего дворца — исполнилось семьдесят пять лет. В приветственной телеграмме, посланной юбиляру, Николай Тихонов почтительно назвал его «запевалой пролетарской поэзии».

Вот он сидит передо мной — старый моряк, поэт, коммунист. У него бледное лицо и светлые задумчивые глаза. Он опирается на массивную палку и неторопливо рассказывает историю двух строк, ставших знаменитыми...

— В тысяча девятьсот пятом году служил я матросом на военном корабле «Сестрица» в Севастополе. Однажды боцман нашел под моей койкой прокламацию. Я знал, что мне грозит арест. Решил бежать, но на следующий день я и два других матроса были арестованы и преданы военно-полевому суду.

Приговорили нас к тюремному заключению на разные сроки. Спустя некоторое время нам удалось бежать. Я направился в Полтаву, где жили мои родители. Жил нелегально по подложному паспорту на имя Сидорова. Вскоре был издан царский манифест. В городе возникла демонстрация. Мы пошли к тюрьме освобождать политических заключенных. Внезапно появилась полиция, налетели казаки, жандармы. Они стали разгонять и избивать демонстрантов. Я пытался скрыться и уже перелез через какой-то забор, как вдруг — удар плетью па спине, и чьи-то сильные, цепкие руки схватили меня.

Тюрьма. Допрос. Провел я в заключении две недели и был отпущен «за отсутствием состава преступления».

Сидел я в камере и все думал: как же это так — манифест и — разгон демонстрантов, тюрьма?.. Сам не знаю почему, но рука

потянулась к перу и бумаге. Правда, я и раньше писал стихи, но больше о любви, о луне, о цветах...

Но в тюрьме было не до стихов о луне. Там родилось вчерне стихотворение, которое я назвал «Красное знамя». В нем-то и есть две запомнившиеся вам строчки... Отделал я стихотворение уже дома, возвратясь из тюрьмы... А знакомые студенты опубликовали его в листовке...

Это было мое первое напечатанное произведение.

В то время в Полтаве жил Владимир Галактионович Короленко. Я пришел к нему, показал стихотворение, он похвалил его,

«Вам надо больше, упорнее работать над стихами... Пишите о тяжелой доле трудового народа... Зовите его к борьбе за свободу, за счастье!..» — напутствовал меня Владимир Галактионович.

...Минуло почти шесть десятилетий с той поры, как появилось первое печатное произведение Павла Арского. Но старый поэт — автор многих сборников стихов, рассказов и пьес — не сложил оружия, с которым прошел сквозь бури и грозы трех революций. Я смотрю на Павла Александровича, и мне кажется, что годы словно бы пронеслись мимо и не коснулись его — так много в нем энергии, жажды деятельности, внутреннего запала, который отличает бойцов ленинской гвардии.

ИЗ ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ «ВОЛОКОЛАМСКОГО ШОССЕ»

«МНЕ НЕ НРАВЯТСЯ ЕГО ГЛАЗА!..»

В поисках героя для повести о битве под Москвой писатель Александр Бек приехал в феврале 1942 года в гвардейскую панфиловскую дивизию.

Дивизия стояла на Калининском фронте, в лесу, близ города Холм.

Из этих мест только что были изгнаны фашистские части, деревни были сплошь сожжены, командиры и бойцы жили в блиндажах и землянках.

Среди заболоченного леса, на белой от снега поляне, сохранился домик. Случилось так, что писатель попал в этот домик в тот час, когда там встретились командиры двух полков — пожилой полковник и молодой капитан-казах. Здесь они обсуждали план наступления, в котором предстояло участвовать обоим полкам.

Александр Бек познакомился с командирами и получил разрешение присутствовать во время обсуждения. Автором плана был полковник. Казах — человек с резкими чертами и резкими

движениями (позже Бек узнал его имя: это был Баурджан Момыш-Улы) — в острых, лаконичных выражениях вдребезги разгромил план полковника. Писатель не без удивления следил за доводами молодого офицера, чувствуя их силу. В конце концов с доводами капитана согласился и полковник. План был изменен. Беку понравился резкий, самобытный язык капитана, его смелость и ум.

Через некоторое время капитан и полковник должны были разойтись по своим блиндажам. Писателю предстояло решить: с кем пойти? Полковник командовал частью, в которой еще совсем недавно сражались легендарные 28 панфиловцев, и все корреспонденты центральных газет обычно шли в этот полк. Но Бека привлекал казах. Писатель решил: пойду с ним.

На несколько минут писатель зачем-то вышел из комнаты. Вернувшись, открыв без стука дверь, Бек вдруг услышал, как казах сказал;

— Мне не нравятся его глаза!..

Это ошеломило писателя. «Вот как! Ему не нравятся мои глаза!» — подумал он. И в то же мгновение Беку показалось, что, заметив писателя, молодой командир стал говорить о другом — об артиллерийской батарее, о ее наблюдателях и прочем.

В эту минуту писатель поколебался: стоит ли ему идти с казахом, если тому «не нравятся его глаза»?

Вскоре полковник и капитан простились и разошлись. Бек последовал за капитаном. О нем, об этом храбром и волевом командире, читатели знают по повести «Волоколамское шоссе».

Некоторое время спустя, познакомившись с Момыш-Улы поближе, Бек спросил его:

— Баурджан, почему тогда, в нашу первую встречу, вы сказали: «Мне не нравятся его глаза!»?

Момыш-Улы не сразу вспомнил эти слова, а вспомнив, рассмеялся:

— Я же говорил об артиллеристах... Мы называем «глазами» артиллерийские наблюдательные пункты... Так вот, мне не понравились «глаза» одного артиллерийского дивизиона!..

ПРОПАВШАЯ РУКОПИСЬ

— Представляете ли вы себе, что значит для писателя пропажа готовой рукописи, не имеющей копии? — воскликнул Александр Бек.— Я нисколько не преувеличу, если скажу, что для литератора это страшное несчастье. Это — потеря детища. Между тем я пережил однажды такое горе...

— О какой же рукописи идет речь? — спросил я писателя.

— О моей повести «Волоколамское шоссе».

— Впервые я побывал в панфиловской дивизии в январе-феврале тысяча девятьсот сорок второго года. Когда мне показалось, что я уже владею материалами будущей повести и как будто неплохо изучил жизнь дивизии, я решил ехать в Москву. Комиссар Талгарского полка Петр Васильевич Логвиненко — кубанец со светлым чубом и светлыми серыми глазами — полушутя-полусерьезно напутствовал меня:

«Вы побывали в орлином гнезде... Смотрите же, не окажитесь глупым птенчиком!»

Я не сразу понял смысл этих слов, хотя много думал о них. Впоследствии я догадался, что имел в виду комиссар: повесть, которую я собирался написать, должна быть достойна панфиловцев, их боевых традиций, их героического духа...

Прошел месяц. Я напряженно работал над повестью, но вдруг почувствовал, что еще плохо знаю панфиловцев, что «материала», как мы, литераторы, говорим, явно не хватает.

Съездил в дивизию еще раз.

«Уже написали?» — спросили меня.

«Нет, товарищи, не написал,— ответил я, смущаясь.— Надо еще пожить с вами, посмотреть, поговорить...»

Но и второго раза мне оказалось недостаточно. Пришлось приехать в третий раз, а затем — в четвертый. И по-прежнему — без рукописи. В конце концов был дан приказ «больше не пускать этого корреспондента, который ничего не пишет».

Наконец летом сорок второго года я засел за повесть. Получил для этого отпуск из редакции журнала «Знамя», где состоял военным корреспондентом, снял комнату на станции Быково, почти безвыездно сидел там и писал. Бывали, конечно, минуты сомнений, мне казалось, что я все-таки выгляжу «птенчиком».

Однажды мне потребовалось поехать в Москву. На даче никого не оставалось. Я побоялся пожара или какой-нибудь другой случайности, которая могла бы вдруг уничтожить мои дневники, заметки, черновики и почти законченную рукопись. Аккуратно сложил все материалы, сунул их в вещевой мешок, надел его на плечи: так будет целее!

В Москве заглянул домой. Жена, провожая меня на дачу, дала с собой бидон с супом и строго предупредила:

«Я знаю тебя... Ты задумаешься и обязательно оставишь бидон в вагоне...»

Я дал честное слово, что не оставлю.

И вот в дачном поезде я еду в Быково. Положил рядом с

собой вещевой мешок, а в ноги поставил бидон. И действительно, крепко задумался. Все думал и не мог решить, как построить действие в последних главах повести. И вдруг прямо над головой услышал голос проводника:

«Быково!..»

Поезд уже остановился. Я вспомнил, что должен что-то не позабыть... Ах, да, бидон! Схватив его, выскочил на платформу. Поезд тронулся. И только тогда взметнулась мысль: «Мешок!» Он остался в вагоне. Все — записки, материалы, черновики и почти готовую рукопись книги — уносил поезд.

Я бросился к начальнику станции, он позвонил на соседнюю, на конечный пункт. Но мешок исчез. Не обнаружил я его и в бюро находок.

Что делать? Не буду описывать авторских переживаний — все ясно и так. Редакция наседала, требуя повесть. Время от времени напоминали о себе и представители дивизии. А я был банкротом...

Мне ничего не оставалось, как писать повесть заново. Но теперь она потеряла сугубо документальный характер — ведь у меня уже не было моего архива. Пришлось дать волю воображению, фигура центрального героя, сохранившего свою подлинную фамилию, все более приобретала характер художественного образа, правда факта подчас уступала место правде искусства.

Так и родилось мое «Волоколамское шоссе».

Возможно, случайность, унесшая готовую рукопись строго документальной повести, позволила мне написать совсем иное, более художественно обобщенное произведение, но другого выхода у меня попросту не было.

— А какой же вариант был лучше? — спросил я Бека.

— Трудно сказать,— ответил он раздумчиво.— Вероятно, тот, который напечатан...

ЗАМЕЧАНИЕ ТВАРДОВСКОГО

— В тысяча девятьсот сорок втором году мне довольно часто приходилось встречаться с Александром Трифоновичем Твардовским. Он был тогда майором, работником газеты Западного фронта «Красноармейская правда», редакция которой находилась в Москве. Жил он на своей московской квартире и по утрам, перед уходом в редакцию, с увлечением писал «Василия Теркина». Я же в то время был военным корреспондентом журнала «Знамя», тоже жил в Москве и работал над повестью «Волоколамское шоссе».

Однажды вечером Твардовский пришел ко мне в гости.

Он спросил:

«Как дела?.. Что ты написал?..»

У меня в этот момент была готова глава, в которой описывался расстрел солдата, прострелившего себе руку.

Я прочитал Твардовскому эту главу.

Он слушал внимательно, а затем сказал:

«Да... Следовало, конечно, его расстрелять... Но мне солдата все же жалко... Понимаешь, жалко мне того, кого расстреливают...»

Больше он ничего не сказал.

Его слова меня задели и заставили призадуматься.

И в продолжение нескольких дней я нет-нет да и возвращался мыслью к замечанию Твардовского.

Как же сделать так, чтобы читателю не было жалко предателя и труса?

Однажды у меня мелькнула мысль: а что, если ввести читателя в некоторое заблуждение — сделать так, будто мой герой Баурджан Момыш-Улы прощает предателя? Этим будет дан выход чувству жалости, и тогда читатель, которого я снова верну к реальности, уже спокойно и без чувства жалости воспримет суровый суд командира.

Я так и поступил. Вписал страницу «прощения» — картину, которая лишь промелькнула в уме Момыш-Улы. Глава зазвучала по-иному и стала, кажется, сильнее.

Как-то к случаю, много времени спустя, я спросил Твардовского:

«А теперь его не жалко?»

Он ответил:

«Да, пожалуй, теперь не жалко!..»

ЭКСПРОМТ

Осень 1942 года, студия Радиокомитета, поздний вечер.

Только что окончились радиопередачи, и Василий Иванович Качалов, выступавший в последней программе с чтением стихов, вышел на улицу. Было темно, холодно, падал мокрый снег.

Качалов шел по Малой Никитской улице, направляясь к Никитским воротам. Он был в шубе, глубоких галошах и высокой каракулевой шапке. Василий Иванович шел медленно, слегка опираясь на массивную палку. Рядом шагал диктор Радиокомитета Всеволод Шевцов. Тайно влюбленный в Качалова, он провожал его домой, в Брюсовский переулок.

На улице пустынно и тихо. Изредка в непроглядной тьме

молчаливой тенью промелькнет прохожий или медленно проедет автомашина с синими маскировочными фарами. И только густое черное небо временами вздрагивало короткими отблесками далеких оранжевых зарев.

У Никитских ворот Качалова и Шевцова остановил комендантский патруль:

— Ваши пропуска!..

Шевцов предъявил пропуск.

— А у вас?..

Качалов неловко замялся.

— Это — знаменитый артист, Василий Иванович Качалов,— поспешил на выручку Шевцов.— У него нет пропуска... Пропустите его, пожалуйста... Он живет совсем рядом, вот здесь, в Брюсовском переулке...

Пауза.

Тонкий луч карманного фонаря скользнул по лицам и на мгновение остановился на лице Качалова.

— Я не знаю товарища Качалова в лицо,— смущенно признался офицер.— Откуда мне знать, что это он?..

Качалов усмехнулся и заговорил — заговорил неожиданно стихами:

...Москва, Москва!.. Люблю тебя, как сын,
Как русский,— сильно, пламенно и нежно.
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль зубчатый, безмятежный...

Качалов читал бессмертные лермонтовские строки, читал своим неповторимым голосом — глубоким, покоряющим. Он читал в тревожной тишине военной ночи, и потому впечатление было необыкновенно и ошеломляюще.

Василий Иванович окончил чтение так же неожиданно, как начал.

— Проходите, товарищ Качалов! — дрогнувшим голосом сказал офицер и взял под козырек...

МЕДАЛЬЮ НАГРАЖДЕН, НО...

Была вьюжная зимняя ночь сорок второго года, когда в редакции «Моряка» — газеты Северного флота — раздался телефонный звонок.

— Капитан, вас вызывает член Военного Совета,— сказал редактор, обращаясь к одному из литературных сотрудников.

Спустя несколько минут капитан уже был в кабинете вице-адмирала Николаева.

— Слушайте, капитан,— начал вице-адмирал,— не находите ли вы, что наши матросы имеют право на увлекательное чтение?.. Так вот, напишите какую-нибудь интересную вещь с острым сюжетом, печатайте ее с продолжением, чтобы читатели с нетерпением ждали следующего номера газеты... Но имейте в виду: это произведение должно носить правдоподобный характер... Вы же понимаете, что мы, к сожалению, не можем описывать подлинные действия наших разведчиков в немецком тылу в Норвегии... Эти подвиги нужно выдумать...

Таким образом, член Военного Совета дал не только задание, но и как бы конкретизировал тему.

Капитан стал работать над военно-приключенческими повестями. Вскоре на страницах «Моряка» одна за другой появились повести «Черное кольцо», «Таинственный сундук», «В понедельник тринадцатого». В них описывались боевые подвиги в фашистском тылу старшины 2-й статьи Крылова — умного, волевого, безудержно смелого разведчика. Воображением автора Крылов попадал в самые невероятные переделки и, преодолевая чудовищные препятствия, ежеминутно рискуя жизнью, с честью выполнял задания командования.

Все три повести подписывались одним и тем же именем: «Старшина 2-й статьи Крылов».

Повести имели большой успех — каждый номер газеты зачитывался буквально «до дыр».

Капитана знали на флоте как работника редакции, и поэтому всякий раз, когда он приезжал в части и подразделения, моряки засыпали его вопросами; какой из себя Крылов? Есть ли у него семья? Откуда он родом? На самом ли деле он старшина 2-й статьи?..

— Товарищи, — отшучивался капитан,— вы же знаете, что я не имею права разглашать военную тайну. Крылов — человек очень скромный; после войны — я уверен — он объявится, и тогда мы будем иметь удовольствие его видеть и с ним беседовать...

...В 1943 году, будучи в командировке в Москве, капитан пришел к редактору газеты «Красный флот» генералу Мусьякову.

С места в карьер генерал стал расхваливать повести старшины 2-й статьи Крылова:

— И откуда вы только выцарапали этого старшину? Самородок ваш старшина!.. И знаете, капитан,— продолжал генерал, придав голосу выражение значительности,— я это говорю не только от своего имени, а и от имени армейского комиссара первого ранга товарища Рогова. Кстати сказать,

товарищ Рогов наградил старшину медалью...

— Ах так,— воскликнул капитан,— тогда давайте мне мою медаль!.. Старшина Крылов — это я.

— Ну, это ты брось! — погрозив пальцем капитану, сказал генерал.— Не трави!..

Тогда обескураженный капитан стал привлекать свидетелей, которые подтвердили, что он и есть старшина 2-й статьи Крылов.

Но и «показания» свидетелей не помогли.

Капитану мягко дали понять, что старшина награжден не за повести, а за подвиги в немецком тылу.

— Так я и не получил свою медаль,— с улыбкой сказал мне писатель Юрий Герман.

«АЛЛЕЯ ПЕТРОВИЧА»

«...когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я сознаю, что климат немножко и в моей власти и что если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом буду виноват и я...»

А.П.Чехов, «Дядя Ваня»

Последние годы жизни Петр Петрович Вершигора провел в родной Молдавии. Он жил в Голерканах — маленьком селе на берегу Дубоссарского моря, в шестидесяти километрах от Кишинева. Его крохотный домик-шалашик стоял в глубине густого леса. Здесь Вершигора работал над новым романом.

...В середине лета 1962 года в Голерканы приехал фронтовой товарищ Вершигоры — Владимир Зеболов, тот самый неистовый партизанский разведчик, который, не имея кистей обеих рук, добровольно пошел на Великую Отечественную войну и с первого до последнего дня сражался в рядах партизанских соединений Ковпака и Вершигоры. Вершигора много вдохновенных страниц посвятил Владимиру Зеболову в знаменитой своей книге «Люди с чистой совестью».

В тиши молдавской деревни Вершигора и Зеболов, ставший преподавателем истории партии Новозыбковского педагогического института, писали книгу «Партизанские рейды», — незадолго до смерти Петра Петровича она вышла в издательстве Академии наук Молдавии «Штиинца».

Однажды Вершигора и Зеболов гуляли по берегу Дубоссарского моря. Перед ними в сиреневой дымке лежала земля Молдавии, искромсанная оврагами. Они как бы вспарывали землю, обнажая пласты чернозема. Его размывали дожди и выветривали знойные степные ветры. Вершигора остановился и,

глядя вдаль, с горечью проговорил:

— Знаешь ли ты, какое это богатство — молдавский чернозем?! Ведь ему цены нет!.. А вот во время ливней этот самый чернозем вместе с водой уносится по оврагам в реки и моря... Спасать землю надо!..

Зеболов не сразу понял своего друга.

— Спасать?.. Как?..— удивился он.

— Сажать леса! — ответил Вершигора.— Леса, леса и только леса!..

Уловив немой вопрос Зеболова, Вершигора продолжал:

— Понимаешь, Володя, нет такого памятника, который можно было бы сохранить на века... Бронза и та разрушается... Бессмертным памятником являются только книги, выдержавшие испытание временем, да леса, посаженные рукой человека...

И тогда, может быть, Зеболову и пришла на ум мысль посадить у себя на Брянщине, в Новозыбкове, молдавские пирамидальные тополи, которые никогда не росли в этой полосе России.

— Помогите достать саженцы пирамидальных тополей! — попросил Зеболов, загоревшись неожиданно возникшей идеей.

Петр Петрович ничего не ответил, только согласно кивнул головой. Зеболов хорошо знал этот молчаливый жест Вершигоры, — он был скуп на обещания, но всегда стремился сделать больше того, о чем его просили.

И Вершигора исполнил просьбу товарища, исполнил раньше, чем Зеболов мог даже предположить.

В один теплый осенний день в Новозыбков прибыла грузовая автомашина. В кузове деревцо к деревцу лежали двести саженцев пирамидальных тополей — по ходатайству Вершигоры их прислал Молдавский ботанический сад.

Прошло немного времени, и был устроен воскресник — живой, горячий, дружный, какого еще не видел Новозыбков. Студенты всех факультетов, вооружившись лопатами, копали ямки, любовно высаживали тоненькие и хрупкие деревца. Так возле нового здания института, в самом центре города, появилась аллея, не предусмотренная никакими архитектурными планами.

Назвали ее «Аллеей Петровича» — в честь писателя, Героя Советского Союза, генерал-майора Петра Петровича Вершигоры.

С тех пор в институте установлено твердое правило: каждый выпускник биологического факультета, уезжающий на работу в школы области, получает вместе с дипломом и саженец пирамидального тополя; он обязан посадить его там, где будет работать.

Так на Брянской земле растут, шумят, тянутся к небу пирамидальные тополи Молдавии. И каждое деревцо, вырастая, как бы утверждает вечную славу писателю и воину.

КНИГА, РОЖДЕННАЯ В ЗАСТЕНКЕ

Писатели обычно не склонны раскрывать двери своей творческой лаборатории. Между тем у каждой книги, как и у каждого человека, бывает своя биография, свой жизненный путь, своя судьба.

...Я вспомнил II съезд писателей, полное шумного оживления фойе Колонного зала Дома союзов и свою беседу с литовским писателем Александром Аугустиновичем Гудайтисом-Гузявичюсом.

— Я никогда не думал стать писателем и не мечтал о литературной деятельности. И если все же я стал литератором, то этим я целиком обязан своей революционной работе.

Так ответил Александр Гудайтис-Гузявичюс на мой вопрос о том, как он работал над своим романом «Правда кузнеца Игнотаса».

...Александру Гузявичюсу было девятнадцать лет, когда в конце 1927 года литовская фашистская полиция арестовала его за революционную деятельность. Тогда же он был исключен из 7-го класса гимназии в г.Укмерге. 7-й класс ему удалось окончить в Каунасе, позже он вернулся в Укмерге, провел антиимпериалистическую массовку молодежи. Вскоре Гузявичюс снова приехал в Каунас, чтобы продолжать учение. Еще не окончилась первая четверть учебного года, как полиция стала преследовать юношу,— впоследствии выяснилось, что на массовке был провокатор, который выдал его полиции.

Гузявичюсу пришлось оставить гимназию и целиком перейти на подпольную работу. В 1931 году полиция арестовала молодого революционера. Суд приговорил его к тюремному заключению на пять лет.

— В тюрьме, — вспоминает писатель,— находилось много коммунистов. Люди томились здесь долгие годы. В тюремной камере я познакомился с кузнецом Антанасом Курклетисом. Тогда, конечно, я не мог подумать, что через двадцать лет этот человек будет прототипом главного героя романа — Игнотаса Варкалиса и что эта встреча в тюрьме изменит привычное течение моей жизни.

Курклетис был старым фронтовиком. В долгие часы вынужденного бездействия он рассказывал мне о своей жизни, об участии в штурме Зимнего дворца, о том, как создавалась

Красная гвардия в Восточной Литве. Рассказы Курклетиса завладели моим воображением. Я стал записывать все, что слышал от этого мужественного, много испытавшего человека. Чтобы скрыть записи от тюремщиков, я вынужден был, писать на маленьких клочках курительной бумаги. Я зашивал их в козырек картуза, в валенки—между двумя подошвами, в складки и швы тюремной одежды. Так день за днем, месяц за месяцем вел я этот своеобразный дневник жизни Курклетиса.

В тысяча девятьсот тридцать третьем году меня неожиданно перевели из Каунасской тюрьмы в Шауляйскую. Во время обыска много записок погибло. Уцелела лишь небольшая часть — та, что была зашита в одежде. Шауляйская тюрьма оказалась гораздо суровее Каунасской: полы и стены камер здесь были сплошь бетонированные, и спрятать что-либо от зорких глаз тюремщиков почти не представлялось возможным. Тем не менее я стал работать над романом. Каждый день страницы общей тетради покрывались набросками сцен, эпизодов, диалогов. Разумеется, приходилось тщательно скрывать эту тетрадь. Внезапно обрушился новый повальный обыск, и тетрадь безвозвратно погибла.

К этой теме я не возвращался несколько лет. Только в тысяча девятьсот сорок втором году я почувствовал потребность вернуться к начатому когда-то роману. Развитие партизанской борьбы на территории оккупированной гитлеровцами Литвы воскресило в памяти исторические события героического прошлого моей родины. Я стал усиленно работать над романом. Но мне не хватало главного — записей, погибших в тюрьме. Наконец, в сорок четвертом году мне удалось разыскать Курклетиса. С его помощью я возобновил записи, когда-то сделанные в тюрьме...

...Так иногда, казалось бы, случайная встреча решает писательскую судьбу и дает направление труду всей жизни.

ТОВАРИЩ ДЕТСТВА

Мне — четырнадцать лет. Я работаю курьером в редакции харьковской газеты «Вісти» и попутно пробую свои силы в отделе информации, поставляя спортивные сообщения и заметки о происшествиях. У меня нет приятелей; есть только один человек, которому я доверяю свои мысли и свои мечты, дружбой с которым дорожу и горжусь,— поэт Павел Павлович Оленич-Гнененко. Он старше меня почти на сорок лет, но это не мешает нам проводить вместе долгие часы. Вот мы гуляем по главной улице моего родного Харькова. Павел Павлович — громадного

роста, богатырского сложения, с бритой головой, с длинными, как у запорожцев, усами, в развевающейся на ветру бекеше, небрежно накинутой на могучие плечи. Его почтительно приветствуют прохожие, он отвечает им легким наклоном головы и чуть качающейся походкой продолжает свой путь, возвышаясь как монумент над многоликой и пестрой уличной толпой.

В тридцатых годах Павел Павлович печатал свои произведения в харьковских газетах и журналах. Это были проникновенные лирические стихи, воспевавшие Украину, ее людей, ее природу. Он писал их крупным, четким почерком на узких длинных полосах бумаги — типографских гранках — и бережно хранил в кожаной, военного образца, сумке. Часто, сидя на бульваре, в тени платанов и карагачей, Павел Павлович читал мне свои стихи. И хотя прошло много лет, я до сих пор явственно слышу его несколько глуховатый голос, вижу его крупные, загорелые, узловатые руки.

Он вошел в мою жизнь вскоре после смерти моего отца и был моим добрым гением, другом, наставником. Он открыл моей душе силу и красоту творчества, внушил мне любовь к литературе.

8 1924 году я навсегда оставил Харьков и около двадцати лет почти ничего не знал о Павле Павловиче.

Августовским вечером 1943 года я приехал в родной город. Легко представить чувство, которое я испытал, оказавшись в городе своего детства.

Харьков только что был вторично освобожден от фашистов и лежал в руинах. Кругом громоздились горы щебня, кирпича, металла, сраженные бомбами деревья, зловеще чернели обугленные остовы домов, а в воздухе висело тяжелое, неподвижное облако удушливой пыли, смешанной с дымом пожарищ.

Уже давно здесь не было никого из моих родственников и близких. А Павел Павлович!.. Жив ли он?.. Весь вечер я блуждал по темным, пустым, лишенным жизни улицам и переулкам, разыскивая дом, в котором когда-то жил старый писатель. Уже около полуночи я отыскал наконец этот маленький домик с палисадником перед входом.

Но Павла Павловича я не увидел.

Вместо него в дверях появился незнакомый старик в украинской свитке, с желтым лицом и выцветшими, подслеповатыми глазами. Вначале он не хотел отпереть дверь, но, узнав, что я интересуюсь Павлом Павловичем, впустил в комнату. После долгих расспросов, кто я такой, куда и откуда еду, старик

сел на табуретку и, помолчав, сказал, глядя куда-то в пространство:

— Нема Павла Павловича... Вмер вин...

При свете каганца старик рассказал мне историю последнего года жизни Павла Павловича. Голос собеседника часто срывался, он говорил медленно, с передышками.

...Когда началась война, Павлу Павловичу было восемьдесят лет. Он не смог эвакуироваться и остался в городе.

— Ненадолго это,— убежденно говорил он своему соседу Миронычу, с которым теперь я беседовал.— Не может быть, чтобы надолго!..

Гитлеровцы и их прихвостни из украинских националистов, едва был установлен в Харькове «новый порядок», тотчас же попытались привлечь Павла Павловича на свою сторону. Они знали, сколь велика была в городе популярность старого поэта, и, конечно, он был им очень нужен. Они предлагали ему печататься в газетах, уговаривали прочесть по радио стихи, соблазняли подарками, продуктами, деньгами. Но Павел Павлович решительно отвергал все предложения. Продукты? Их у него достаточно. Читать стихи? У него нет новых стихов. Печататься в газетах? Он давно уже ничего не пишет... Но за этими отговорками легко угадывалась подлинная причина: он не может изменить и никогда не изменит земле, на которой родился и которую любит преданной сыновней любовью.

Много месяцев тянулась ночь вражеской оккупации. Павел Павлович редко выходил из дому; он покидал свою маленькую квартирку только для того, чтобы раздобыть хоть что-нибудь поесть. Больной, впервые оказавшийся без родных, без близких людей, он особенно остро переживал свое одиночество.

Только с Миронычем он делился своими думами.

И тогда, видно, пришло неожиданно решение и сразу овладело всем существом старого поэта: то, что происходит сейчас в его стране, в его городе, он не может изменить — он стар, слаб и болен. Но жизнь его принадлежит тем, кто по ту сторону фронта. А от тех продажных и назойливых людишек, которые не оставляют его в покое, лезут непрошеные, незваные в дом, тщатся соблазнить сытой жизнью,— от этих надо отделаться раз и навсегда. Пусть знают, что нет им доступа к старому, честному литератору.

В этот день Павел Павлович впервые не впустил к себе Мироныча, сославшись на нездоровье. Медленно, не торопясь, по-хозяйски он заколотил ставни, запер входную дверь и заставил ее старинным громоздким шкафом.

Вечером Мироныч заметил тонкий луч света сквозь закрытую

ставню. Встревоженный, Мироныч прильнул глазом к щелке. При тусклом свете коптилки Павел Павлович шагал по комнате из угла в угол. Через ставню были слышны его мерные, тяжелые шаги, а по стенам ползала огромная длинная тень его фигуры.

В течение ночи Мироныч несколько раз подходил к ставне — Павел Павлович все ходил и ходил... Иногда он садился за письменный стол, перебирал старые бумаги, газетные вырезки, черновики когда-то написанных стихов... Павел Павлович замкнулся в себе. Он как бы выключил себя из жизни, он стал глух и нем...

С каждым днем убывали скудные запасы пищи, которые ему удалось сохранить. Должно быть, он разделил хлеб и крупу на крохотные дольки и свято следил за тем, чтобы не съесть больше того, что было определено на каждый день.

Через несколько дней коптилка уже не горела по вечерам за щелкою ставни, но Мироныч по-прежнему улавливал слухом те же тяжелые, мерные шаги. Он пробовал постучаться к другу, но тот не ответил...

Прошло еще несколько дней, и над Харьковом загрохотали разрывы снарядов. Вскоре загремели выстрелы на улицах — войска Советской Армии ворвались в город.

Мироныч изо всех сил колотил в дверь:

— Павел Павлович!.. Наши пришли!.. Откройте же, наши!..

Но Павел Павлович не откликался.

С помощью бойцов Мироныч взломал дверь и открыл ставни. В распахнутые настежь окна вместе со свежим весенним ветром ворвались жаркие лучи солнца. Осветив комнату, они ударили в лицо Павла Павловича. Торжественный, в накрахмаленной сорочке, в парадном костюме, Павел Павлович лежал на письменном столе, за которым много лет писал, работал, творил... Он не подпустил врагов к своему столу. Он был мертв. Лицо его было светлым и спокойным — смерть еще не успела придать его чертам окаменелость.

На могиле Павла Павловича нет памятника. Но старожилы Харькова легко находят ее на старом заброшенном кладбище и убирают цветами.

ВИКОНТ ЖАН ВЯЗЕМСКИ

Писатель Александр Смирнов, разделивший в фашистском плену тяжкую, горькую участь тысяч советских воинов, рассказал однажды случай, глубоко меня взволновавший. Вот что я услышал:

— В тысяча девятьсот сорок четвертом году, после трех лет

скитаний по гитлеровским лагерям смерти, я попал в госпиталь военнопленных Шморкау, расположенный под городом Кенигсбрюкк, неподалеку от Дрездена. Я заболел плевритом, осложненным желтухой. Болезнь причиняла невыносимые страдания и так измотала, что я стал, как говорили в лагере, «фитилем» или «доходягой» — без посторонней помощи не мог взобраться даже на второй этаж нар.

Госпиталь помещался в старинной помещичьей усадьбе. В нем находились англичане и французы, итальянцы и бельгийцы, югославы и советские военнопленные. Но нас, советских, держали отдельно от «Европы» — в конюшнях, отгороженных колючей проволокой.

Дня через два после прибытия в госпиталь мой сосед Устинов — бывший бухгалтер Ивановского треста столовых, с которым я подружился,— протянул мне крашеное пасхальное яйцо — это было в канун пасхи — и книжку русского писателя Ивана Шмелева «Праздники Господни».

«Возьми, друг!» — сказал он.

«Откуда это у тебя?»

«Да ведь я числюсь в команде выздоравливающих... «Генезен Командо», как говорят немцы... Послали меня сегодня в «Европу» двор подметать... Вот там я и «подкалымил» кое-что — окурков набрал, а потом подошел ко мне один французский офицер... По-русски говорит свободно, как мы с тобой... Дал он мне пару яиц и эту вот книжку... Почитай-ка!..»

Неожиданный подарок Устинова растрогал меня. Повеяло вдруг чем-то родным, очень русским, вспомнилось детство, отчий дом на Волге... И хотя в тот момент было не до чтения, я жадно начал листать страницу за страницей. В конце книги внимание привлек экслибрис, показавшийся непонятным: «Из книг виконта Жана Вяземски».

А на следующий день Устинов свел меня с владельцем книжки. У колючей проволоки я увидел высокого, стройного, даже изящного человека в поношенном мундире офицера французской армии. Тоненькая ниточка усов оттеняла его худощавое, бледное лицо с запавшими щеками.

К моему удивлению, собеседник действительно отлично владел русским языком.

Помнится, я спросил:

«Не в родстве ли вы с поэтом Вяземским?.. У вас какая-то странная для француза фамилия... Она и не русская и не французская...»

«Да, я правнук князя Петра Андреевича Вяземского... Мне было три года, когда гувернантка-француженка увезла меня из

Петербурга в Париж... Она воспитала меня и заменила мать... Потом началась война, я был призван в армию, получил ранение и попал сюда...»

Жан Вяземски помолчал, затем сказал:

«В нашей семье имя Пушкина всегда было святым...»

Смирнов прервал рассказ, глубоко вздохнул и продолжал:

— Понимаешь, он сказал: «Пушкин!»... Впервые за три года войны и плена я услышал имя Пушкина... В этой гигантской фабрике смерти, где ежедневно от голода и болезней умирали десятки людей, среди унизительного бесправия и безнаказанного произвола, слово «Пушкин» обрело для меня совсем иной смысл, оно было синонимом жизни...

С того дня Жан Вяземски регулярно приходил к колючей проволоке и незаметно вручал мне свертки. Это были остатки продовольственных посылок, которые через Красный Крест поступали иностранным военнопленным. Передавая драгоценную ношу, Вяземски всякий раз произносил одну и ту же фразу; «Возьмите. Это вместо венка на могилу погибших русских товарищей». В посылках были крупа, галеты, консервы, папиросы, попадался даже шоколад, и все это мы делили на равное количество частей. Передачи, организованные Жаном Вяземски, поддерживали обессиленных, измученных голодом и болезнями товарищей, а некоторых просто вернули к жизни.

Настал наконец день, которого мы ждали долгих три года: войска Советской Армии вступили в Саксонию. Фашистский гарнизон госпиталя, чувствуя близость конца, решил нас уничтожить. Узнав об этом, Жан Вяземски и военнопленный полковник Ермашов организовали группу самообороны; они завязали бой и разгромили эсэсовцев. В бою Вяземски был тяжело ранен, и я потерял его из виду...

Вот с каким человеком свела меня судьба!..

Жив ли ты, мой дорогой друг, виконт Жан Вяземски?

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Накануне столетия со дня рождения Ивана Франко я приехал во Львов, чтобы сфотографировать памятные места, связанные с жизнью и деятельностью великого украинского писателя. Я очутился в городе — памятнике эпох и стилей, в лабиринте средневековых улиц, в городе семисотлетней давности, где все было для меня ново, незнакомо и увлекающе интересно.

Сколько я ни пытался составить хотя бы приблизительный план работы — ничего не получалось. В растерянности и отчаянии я позвонил доброму своему знакомому — директору

Львовского лесотехнического института Юрию Дмитриевичу Третяку, которому рассказал о своих затруднениях.

— Попробуйте обратиться к профессору Рудницкому — посоветовал Третяк.— Он отлично знает Львов, к тому же Рудницкий был знаком с Франко...

...Михаил Иванович Рудницкий — старейший профессор Львовского университета — принял меня в своем рабочем кабинете — просторной, увешанной картинами, солнечной комнате, с видом на тихую, в зелени деревьев, улицу Устияновича. Он сидел в халате за большим письменным столом, заваленным рукописями, книгами, газетами, журналами. Профессор внимательно выслушал меня и, несмотря на перегруженность разными обязанностями, охотно согласился мне помочь.

Мы побывали во многих местах, где жил и работал Франко, и после трехдневной напряженной работы посетили Лычаковское кладбище — последний приют писателя. Мы долго бродили по старым аллеям древнего кладбища с его мрачными памятниками и надгробиями,— тихим аллеям, сырым и темным.

А теперь,— сказал Михаил Иванович,— я покажу вам могилу, которая особенно дорога моему сердцу.

На открытой площадке я увидел могилу, облицованную черным полированным мрамором. Вокруг могилы цвели высокие красные канны. Это была могила Ярослава Галана — замечательного украинского писателя, зверски убитого наемниками Ватикана.

— Ярослава Галана я знал четверть века,— продолжал Рудницкий.— Всякий раз, когда я бываю здесь, мне почему-то вспоминаются две встречи с Галаном — самая первая и самая последняя.

В тысяча девятьсот двадцать седьмом году во Львове был объявлен конкурс на лучшую пьесу для драматического театра Я состоял членом жюри. Среди многих пьес, поступивших на конкурс, мое внимание привлекла анонимная рукопись. Она поразила меня необыкновенной свежестью поэтических образов. Пьеса была написана карандашом, крайне небрежно, на нескольких ученических тетрадях.

«Вот эту единственную, пожалуй, можно премировать,— подумал я,— но автор должен доказать, что он не переписал ее из какого-нибудь иностранного источника». Эту мысль я выразил в обзорной статье, предложив анониму явиться в жюри и доказать свое авторство.

Через несколько дней во Львов из Кракова приехал молодой человек, бедно одетый, очень застенчивый, с большой пачкой

материалов. Это был студент исторического факультета Краковского университета Ярослав Галан. Его отличное знание эпохи, из которой был взят сюжет пьесы, не оставляло ни малейшего сомнения в том, что он является автором.

Мне пришлось выдержать бой с украинскими буржуазными националистами, возражавшими против того, чтобы премировать начинающего писателя, который к тому же совсем не скрывал своих симпатий к коммунистам. Я добился того, что Галан получил премию и пьеса была поставлена.

Последняя моя встреча с Галаном произошла во Львовском университете, на литературном вечере, на котором он должен был выступать вместе с другими писателями Львова.

Галан пришел одним из первых. Он стоял в глубине актового зала и с интересом наблюдал, как постепенно заполнялся студентами университетский зал. Обращаясь ко мне, Галан задумчиво проговорил:

«Как странно, не правда ли?.. Прожил я при советской власти только десять лет, и в том же самом университете, в котором я не имел права даже учиться, передо мной сидят люди нового поколения и совершенно особого склада — советские студенты!.. Когда это было, чтобы в буржуазный университет приглашали писателей, да еще для беседы об их творческих планах?!..— По лицу Галана скользнула горькая улыбка.— Вы спрашиваете, о чем я буду сегодня говорить?.. Право, не знаю... Может быть, лучше всего было бы сказать этим молодым людям о тех неограниченных возможностях, которые открыты перед ними и о которых никто из нас не мог и мечтать?.. Рассказывать о своих творческих планах — трудно, да я и не люблю. В большинстве случаев это или обещания, или хвастовство, меньше всего обязывающее автора. Я прежде всего хотел бы закончить пьесу. Она направлена против украинских националистов. Не знаю, как она получится с точки зрения художественной, но я глубоко убежден, что на отделку своей вещи у писателя всегда найдется время. Я пришел к выводу, что идея произведения — актуальная, острая, исполненная любви к друзьям и ненависти к врагам — непременно обретет достойную ее форму».

«Когда же вы думаете закончить пьесу?»

«Она как будто закончена,— ответил Галан.— Но понимаете, у меня такой нрав — не кончу еще одну вещь, а рука уже чешется начать другую...»

«Боитесь, что не успеете? Не хватит времени?..»

«Я ничего не боюсь,— сказал Галан, задумавшись.— Но времени все-таки нужно бояться: оно не щадит никого!..»

А через два дня Галан — депутат Львовского горсовета — был убит. Убит топором. Убит в своем кабинете, за своим письменным столом, в тот момент, когда он читал заявление «просителей», пробравшихся к нему под видом студентов.

ЭТО БЫЛО В ВИНОГРАДОВЕ...

В маленьком закарпатском городке Виноградове, который лежит на пути из Ужгорода в Рахов, много лет живет Елизавета Ревес. Последние годы она зарабатывала на жизнь тем, что была приходящей домашней работницей. Она стирала, ухаживала за больными. Лишь очень немногие старожилы города знали, что эта молчаливая, старая, седая женщина — единственная дочь знаменитого венгерского художника-демократа, ученика и друга великого Михая Мункачи — Имре Ревеса, родившегося и долгое время жившего в Виноградове, объездившего весь мир и вернувшегося на родину, чтобы умереть на родной земле.

...Есть люди, которые переживают все невзгоды жизни наедине с собой. Они никому не жалуются, как бы тяжело им ни было, и никого не просят о помощи. Они обычно бывают замкнутыми и в тайниках души хранят воспоминания о «светлом далеком», боясь доверить свою тайну другим, опасаясь, что люди могут осквернить ее неосторожным словом или недоверчивой улыбкой. Такой оказалась и Елизавета Ревес. Она никогда не говорила о своей жизни и ни с кем не делилась воспоминаниями об отце, с которым долгие годы провела в Париже, Вене, Риме, Будапеште. Скромная, она боялась, что ей не поверят, что ее рассказ может быть воспринят как попытка приобщиться к славе отца.

Ужгородский писатель Матвей Тевелёв, автор известного романа «Свет ты наш, Верховина...», случайно узнал от одного из своих друзей, что в Виноградове живет дочь Ревеса. И хотя Тевелёв отнесся к этому сообщению с некоторым сомнением,— никто из официальных лиц в Ужгороде не знал о существовании наследницы знаменитого художника,— он тем не менее немедленно отправился в Виноградов. Писатель вошел в маленькую комнатку, которую Елизавете Ревес уступили чужие люди, построившие свой дом на участке, на котором когда-то стоял дом самого художника. Комнатка была бедно обставлена, и только стену украшали две потемневшие от времени картины.

Дочь художника встретила Тевелёва холодно и недружелюбно.

— Никаких работ моего отца у меня нет, — решительно заявила она. — Вот только эти две...

И добавила:

— Вообще, я не понимаю, кого могут интересовать его произведения?!..

Признаться, Тевелёв не ожидал такой встречи. Он вновь объяснил Елизавете Ревес цель своего приезда. Он сообщил ей о том, как высоко чтут советские люди творчество ее отца. Он показал ей Большую Советскую Энциклопедию, в которой напечатаны репродукции с картин Ревеса «Хлеба!», «Дезертир» и статья о его жизни и творчестве.

— Я ничего этого не знала,— сказала она с дрожью в голосе. — Мне говорили... меня убеждали совсем в другом...

— Что вам говорили? — спросил ее писатель.

— Мне говорили... Ах, мой бог, вы сами знаете, что говорят люди, которым ненавистно все, что делается сейчас...

Наступило молчание. После долгой паузы Елизавета Ревес доверительно сказала:

— У меня в сарае стоит сундук. В нем — работы моего отца... Верьте, это — самое дорогое, что осталось как память об отце... Я не в силах расстаться с ними...

С этими словами она ввела Тевелёва в маленькую пристройку. Здесь, под всяким домашним хламом, стоял сундук, в котором лежали тщательно хранимые свитки живописных холстов и папки с рисунками. Когда рисунки были разложены возле того же сарая на бревнах, перед глазами писателя возник ушедший в невозвратное прошлое мир тяжелого подневольного труда, талантливо запечатленный художником. Всю свою жизнь Имре Ревес воспевал трудовой люд — рабочих, крестьян, чабанов. Им, этим простым, незаметным труженикам, отдал Ревес свое вдохновение и свой талант художника-демократа. Среди этих работ писатель увидел и великолепные, ставшие уже классическими, иллюстрации Ревеса к стихам Шандора Петефи, над которыми художник работал со студенческой скамьи до последних дней своей жизни.

— Не согласились бы вы дать эти вещи на выставку? — поинтересовался писатель.

Она промолчала, точно не слышала этого вопроса.

— Где похоронен ваш отец? — спросил Тевелёв.

— Здесь... на городском кладбище...

Они отправились на кладбище. Но могилы Ревеса писатель не увидел. Там, где некогда высился могильный холм, было провалившееся, густо заросшее бурьяном место.

— Вот здесь он лежит...— тихо сказала она.

...Возвратившись в Ужгород, Тевелёв рассказал руководителям областных организаций о своей поездке. Его

сообщение произвело большое впечатление: жива дочь Ревеса, обнаружено место, где похоронен знаменитый художник, найдены неизвестные его произведения — какое это значительное событие в культурной жизни нашей страны, в культурной жизни братской Венгрии!

Вскоре городские власти Виноградова привели в порядок могилу Ревеса и воздвигли на могиле памятник. А некоторое время спустя писатель получил от дочери художника письмо: она соглашалась представить на выставку все имеющиеся у нее произведения Имре Ревеса.

Выставка была развернута в Ужгороде, в древнем замке, и пользовалась громадным успехом. Многие работы Ревеса приобрели Государственный Эрмитаж и Закарпатская картинная галерея.

...На выставке, в углу, стараясь быть незамеченной, ежедневно долгие часы простаивала дочь художника. Она смотрела не на картины своего отца, которые хорошо знала, а на людей, приходивших насладиться вдохновенными творениями Ревеса. Она была счастлива, эта молчаливая, старая, седая женщина.

РУКОПИСЬ НАХОДИТ АВТОРА

Роман Юрия Домбровского «Обезьяна приходит за своим черепом», пролежав в издательстве несколько лет, вдруг, против всяких ожиданий, вышел неожиданно быстро и был мгновенно раскуплен. Я случайно успел «схватить» экземпляр, но когда на следующий день попытался приобрести еще один, книги уже нигде не было.

Такова судьба всех подлинно талантливых произведений: книги сами, без рекламной шумихи, находят дорогу к читателю.

И вот я перечитываю этот роман, а мысли уходят в прошлое, вспоминается Малеевка, морозный вечер, тихий, заснеженный парк. Я прогуливаюсь с Юрием Домбровским и слушаю историю его книги.

Но раньше, чем приступить к рассказу, услышанному из уст Домбровского, я должен сказать, как я познакомился с ним.

Моим соседом по коттеджу в Малеевке — подмосковном писательском Доме творчества — был высокий, худой, сутулый человек лет сорока пяти, с густыми черными волосами, тронутыми сединой. Держался он особняком, был неразговорчив и угрюм. Он появлялся в обществе своих коллег лишь в часы завтрака, обеда и ужина, а все остальное время почти безвыходно проводил в своей комнате.

— Кто это? — спросил я за обедом соседа, заметив, что тот поздоровался с незнакомцем.

— Писатель Юрий Домбровский — человек трудной судьбы и автор интереснейшего романа,— ответил сосед.— На вашем месте я бы ни за что не упустил возможности с ним познакомиться...

— Так познакомьте меня! — сказал я.

После обеда и состоялось наше знакомство, а вечером я услыхал от Домбровского историю его романа.

— В тысяча девятьсот тридцать девятом году я был арестован, как тысячи других «повторников», по ложному доносу. Пробыв в заключении несколько лет, я был выпущен и поселился в Алма-Ате. Вскоре я тяжело заболел и был помещен в больницу.

Я начал писать роман осенью сорок третьего года, лежа на койке, имея одну-единственную ученическую тетрадку, которую подарил мне врач, да ручку — не ручку даже, а лучинку с прикрученным к ней пером. Чернила делал из марганца — они получались бурыми и напоминали мне те, какими писали монахи и подьячие в каком-нибудь XVI веке. Экономя бумагу, я писал таким мелким почерком, так лепил строчку к строчке и букву к букве, что сейчас свои рукописи того времени могу читать только с помощью сильной лупы.

У меня были парализованы ноги, и писать приходилось сначала лежа, потом — сидя. И тут мне на помощь приходил картонный щит со знаками разной величины, которым в больнице врачи пользовались для проверки остроты зрения. Он и до сих пор сохранился в том отделении, где я лежал, и врачи по сию пору ругают того неряху, который со всех сторон заляпал его чернилами. Вероятно, они никак не могут понять, кто и зачем это сделал.

Я работал над романом в те дни, когда на Западе шла война с фашистами, когда была уже освобождена половина Украины и смертельно раненный фашистский зверь, огрызаясь, заползал в свою берлогу. И все-таки я понимал, что борьба с фашизмом не кончена, а только вступает в новую и, может быть, несравненно более трудную и острую фазу. К этому чувству примешивались и личные переживания: во время войны у меня пропала без вести сестра, я не имел сведений о матери. Я только знал, что война и движение немецких полчищ к Москве застали мать где-то в районе Дмитрова. Спасаясь от собственного бессилия и тоски,— я и по койке не мог передвигаться, а только ёрзать,— я и писал свой роман.

Потом мы роман перепечатывали. Мы — это я и та женщина, жена умершего товарища, которой я посвятил свою книгу. Она

служила в библиотеке и, роясь в бумажной макулатуре, однажды сделала бесценную находку: она нашла кипу печатных патентов с чертежами. Чертежи — огромные складные листы — печатались только на одной стороне, другая же оставалась чистой. Вот на этой-то оборотной стороне мы и перепечатывали рукопись.

Когда рукопись была перепечатана и я уже собирался послать ее в Москву, вдруг кто-то снова донес на меня, и я был опять арестован. В числе «вещественных доказательств» — едва ли не самых главных — фигурировал мой роман. Меня обвинили, в частности, в том, что якобы я зашифровал иностранными именами тех работников органов государственной безопасности, с которыми я сталкивался во время своего первого ареста.

Я снова отсидел срок, затем был выпущен, реабилитирован и приехал в Москву. С каким-то странным чувством вошел я в свою комнату, которую мне сохранили близкие. В ящиках моего письменного стола было пусто. Валялись только какие-то обрывки, какие-то давние записи, о существовании которых я и не подозревал. Так всегда бывает: валяются в столе какие-то бумаги, записки, которые почему-то жаль выкинуть, но для которых никогда не находится места в рукописи...

Так вот, пока я восстанавливался по всем ступенькам своего, так сказать, общественного бытия, я ничего не делал и делать не мог.

Все чаще мысли концентрировались вокруг погибшего романа, потерю которого я ощущал тем больнее, чем больше проходило времени.

Однажды в нашу квартиру позвонили. Я открыл дверь. На пороге стоял маленький кругленький человек с бритой головой.

«Могу ли я видеть Домбровского?» — спросил он.

«Я — Домбровский...»

«Может быть, вы пригласите меня в комнату?..»

«Пожалуйста, пожалуйста...» — спохватился я.

Войдя в комнату, незнакомец огляделся, помолчал, потом спросил:

«А как мне убедиться, что вы действительно Домбровский?..»

Я на секунду задумался, подошел к столу, порылся в бумагах:

«У меня, кроме этого рецепта, ничего нет... Посмотрите: здесь указана моя фамилия...»

Незнакомец скользнул глазами по рецепту.

«Вот в этой авоське,— сказал он,— ваш роман... «Обезьяна приходит за своим черепом»... так, кажется, он называется... Вы писали такой роман?.. Мне было приказано сжечь рукопись, но я сохранил ее...»

Перед глазами поплыла комната, вещи, книги... Я пытался

что-то сказать, что-то спросить, но у меня не было сил, чтобы открыть рот.

«Ну вот, а теперь мне надо идти»,— тем же спокойным тоном сказал незнакомец и направился к двери.

Я продолжал стоять точно окаменевший. Вдруг я услышал, как лязгнул дверной замок.

«Послушайте... погодите!» — закричал я и выбежал на площадку.

Незнакомец обернулся. Слабый свет, падавший из маленького оконца лестничной клетки, освещал только фигуру человека, оставляя в тени его лицо.

«Не спрашивайте меня ни о чем,— скороговоркой прошептал он,— и не пытайтесь меня найти... Прощайте!.. Желаю вам всего хорошего...»

И в ту же секунду я ощутил в своей руке влажную шероховатую ладонь незнакомца и его крепкое рукопожатие.

Потом до моего слуха донеслись шаркающие шаги незнакомца, спускавшегося по каменной лестнице.

И все стихло.

Я вошел в свою комнату, все еще не понимая и не осознавая, что случилось. Я только чувствовал, что произошло что-то большое и важное, что-то такое, что сразу изменило мою жизнь.

В авоське, кое-где заштопанной, лежавшей на полу, завернутая в газету, была рукопись моего романа, которую я считал безвозвратно погибшей.

— Вот так я и получил возможность издать свой роман,— закончил свой рассказ Юрий Домбровский.— А здесь, в Малеевке, я почти все время сижу над корректурой... Осталось уже немного... Думаю, что скоро я смогу отвезти корректуру в издательство...

ПЯТЬ ЧАСОВ С ФЕЙХТВАНГЕРОМ

Несколько лет назад «Литературная газета» опубликовала отрывки из мемуаров Марты Фейхтвангер. Вдова немецкого писателя-антифашиста Лиона Фейхтвангера вспоминает, в частности, о том, как однажды в гости к Фейхтвангеру приехал выдающийся советский виолончелист Мстислав Ростропович и играл ему. По словам Марты Фейхтвангер, игра Ростроповича произвела неизгладимое впечатление.

Эти несколько строк Марты Фейхтвангер заставили меня разыскать запись беседы с Ростроповичем, состоявшейся вскоре после его возвращения из триумфальной гастрольной поездки по

городам Соединенных Штатов Америки. Перечитав свои записки, я подумал о том, что читателям было бы интересно узнать никогда не публиковавшиеся подробности встречи Ростроповича с Фейхтвангером. Об этой встрече артист впоследствии говорил как о большом событии в его жизни.

В начале 1956 года Мстислав Ростропович гастролировал в США. Остались позади Нью-Йорк, Кливленд, Вашингтон, снова Нью-Йорк, затем—громадный, через всю страну, бросок на запад — в Лос-Анжелос.

Концерт Ростроповича в Лос-Анжелосе состоялся 23 апреля и прошел с громадным успехом,— газеты писали о советском музыканте как об одном из величайших виолончелистов современности.

На следующий день Ростропович встретился со своими американскими друзьями — сотрудниками американо-русского Института дружбы, музыкантами, работниками артистического агентства. Возникла оживленная беседа. Кто-то заговорил о знаменитых жителях Лос-Анжелоса.

— Вам известно,— спросил Ростроповича один из собеседников,— что в Лос-Анжелосе живут многие знаменитости?.. Здесь и Хейфец, и Стравинский, и Фейхтвангер...

Ростропович воскликнул:

— Как бы мне хотелось познакомиться с Фейхтвангером!..

Это желание было вызвано любовью Ростроповича к творчеству Фейхтвангера, давней искренней любовью читателя.

Дня через два сотрудница артистического агентства сказала Ростроповичу:

— Я звонила господину Фейхтвангеру... Он очень сожалеет, что не мог из-за болезни быть на концерте... Он много слышал о вашем успехе... Господин Фейхтвангер интересуется, не собираетесь ли вы дать еще один концерт, на котором он хотел бы присутствовать?..

Но следующий концерт должен был состояться уже в Сан-Франциско, и Ростропович сказал:

— Передайте дорогому Фейхтвангеру самый горячий привет от меня и от его многочисленных советских читателей... Передайте мою глубокую благодарность за ту теплоту, искренность и человечность, которые излучают его книги... Если он захочет, я с большой радостью ему поиграю...

Фейхтвангер тотчас же откликнулся и назначил час встречи.

В полдень Ростропович, его аккомпаниатор Александр Дедюхин и представитель Министерства культуры Эдуард Иванян выехали из Лос-Анжелоса. Через три часа машина остановилась у

небольшого, построенного в испанском стиле, двухэтажного дома с очень маленьким двориком.

— Я увидел Фейхтвангера,— рассказывал Ростропович,— на пороге большой комнаты. Передо мной стоял человек невысокого роста. Волосы он носил ежиком и сам чем-то напоминал ежа — напоминал своим вытянутым носом, быстротой движений, очень зоркими и очень пронизывающими глазами и какой-то «колючестью». Но стоило ему улыбнуться, как сразу же глаза загорались, лицо преображалось, и весь он становился необыкновенно мягким, человечным.

К величайшему своему огорчению, я изучал немецкий язык только в средней школе и знаю его крайне плохо. Правда, я почти все могу выразить с помощью немецкого языка, но делаю это, минуя грамматику. Поэтому мой собеседник хотя и понимает, о чем идет речь, но не понимает одного: это было, есть или будет.

С первой же минуты встречи с Фейхтвангером я почувствовал себя настолько подавленным своим «знанием» немецкого языка, что боялся открыть рот и старался говорить глазами, жестами, мимикой. Но на десятой или, может быть, на пятнадцатой минуте Фейхтвангер уже подбирал такие простые немецкие слова, был настолько обаятелен и прост, сумел вселить в меня уверенность, что я владею немецким не хуже великих литераторов Германии, что вскоре я поймал себя на дерзкой мысли: я очень хорошо говорю по-немецки, а Фейхтвангер, напротив, что-то очень часто задумывается...

Если верна мысль, что можно подобрать ключи к сердцу человека, то за эти первые пятнадцать минут Фейхтвангер ключами и отмычками открыл всего меня совершенно. Мы смеялись, непринужденно болтали о всяких пустяках. Марта Фейхтвангер подвезла маленькую «тележку» с винами и закусками. Маленькая «тележка» быстро помогла забыть дорожную усталость, и мне сразу захотелось играть для этого человека,— пожалуй, никогда я не испытывал такого физического желания играть.

Я спросил Фейхтвангера, что бы он хотел послушать?

Он ответил:

«Я очень люблю Баха... Это, знаете ли,— музыка без трюков...»

Я начал играть сюиты Баха для виолончели соло. Я играл в большой комнате с огромными окнами, выходящими на океанский залив.

Между частями я случайно взглянул на Фейхтвангера. Он сидел задумчивый, сосредоточенный, словно ушедший в себя. Это

его состояние мгновенно сообщилось мне, и я подумал, что он слушает совсем не исполнителя, что он как бы «перешагивает» через исполнительские приемы и нюансы, наслаждаясь одной только музыкой. И когда я хотел остановиться, Фейхтвангер произнес едва слышно:

«Еще... Еще, если можно...»

Я играл много и долго. Как только я кончил, Фейхтвангер, взволнованный и возбужденный, быстро подошел ко мне, сунул в руки грифель, стремительно перевернул стул, на котором я сидел, и попросил расписаться на днище стула. Я был ошеломлен.

Несколько позже, за общим столом Фейхтвангер, растягивая слова, задумчиво проговорил:

«Знаете, я не понимаю, когда наши критики и музыковеды стремятся привязать — да, да, именно привязать! — к музыке какую-то конкретную идею... Мне кажется, что музыка создает такое настроение, такое состояние души человека, создает в его сознании почву, поднимает все лучшее, что есть в человеке, вдохновляет его настолько, что у него появляются собственные, внушенные или вдохновленные этой музыкой идеи...»

Марта Фейхтвангер шутливо сказала:

«Если бы вы только знали, как Лион любит музыку!.. Он даже собирался стать скрипачом, но,— добавила она с улыбкой,— в этой области из него так ничего и не вышло...»

Фейхтвангер смутился, покраснел, и нам показалось, что жена выдала его сокровенную тайну.

В тот прекрасный, тихий весенний вечер Фейхтвангер много рассказывал о своих мучительных переездах из Германии во Францию и из Франции в Америку.

«До сих пор я с дрожью вспоминаю трагическое гитлеровское время — «Гитлерцейт»,— сказал Фейхтвангер, и его глаза блеснули гневом.— Какая это была ужасная машина, производившая страдания и разрушения!.. У меня погибли две библиотеки, которые я собирал почти всю жизнь... Правда, здесь я создал новую библиотеку, и у меня уже есть много редких и ценных книг... Я очень люблю книги, люблю свою библиотеку...»

Я говорил Фейхтвангеру о его огромной популярности в Советском Союзе, о любви к нему наших читателей, говорил о том, что, каков бы ни был тираж его романов, их все-таки не хватает и они переходят из рук в руки.

Фейхтвангер внимательно слушал и, подумав, ответил:

«Здесь, в Америке, многие тоже покупают мои книги... Но у меня есть опасения, что часть людей все же покупает их из-за красивых переплетов — приятно ведь поставить на полку книгу в

красивом переплете!..»

Последние слова он произнес с грустью.

«Я люблю вашу могучую страну,— сказал Фейхтвангер, прощаясь,— Она действительно могуча. Могуча не только своими гигантскими расстояниями, полями, реками, горами, но — главное — духом народа».

Вскоре мы уехали. Был поздний вечер, и наша машина медленно спускалась по вьющейся неширокой горной дороге. Вдали в огнях сверкал Лос-Анжелос. Я думал о Фейхтвангере и о том, каким громадным событием была для меня встреча с этим большим писателем и человеком.

ДО ПОСЛЕДНЕГО ДЫХАНИЯ...

Двадцать пять лет жил среди нас очень скромный человек.

Его звали Сесар Муньос Арконада.

Он был писателем, коммунистом, борцом за свободную Испанию.

Когда власть захватил Франко, потопив в крови республиканскую Испанию, Арконада приехал в Москву, и с той поры Советский Союз стал его второй родиной.

Арконада редактировал испанские издания журналов «Интернациональная литература» и «Советская литература», писал рассказы, пьесы, стихи, переводил советских поэтов. Нередко его стихотворения появлялись на страницах наших центральных газет и журналов,— это были произведения большого мастера, со своей языковой палитрой — горячей и яркой, как природа его родины.

...В конце февраля Арконада заболел. Его поместили в Кремлевскую больницу. Предстояла тяжелая операция, исход которой невозможно было предвидеть. Это знали близкие поэта, знал и он сам. Но он продолжал думать, творить. За восемь дней до операции Арконада получил от своего друга и заместителя по журналу «Советская литература» Хосе Сантакреу несколько валенсийских апельсинов. Они были завернуты в тончайшую папиросную бумагу с красочными рекламными марками фирмы. Арконада откликнулся на этот подарок взволнованным сонетом «Апельсины из Гандии», который посвятил Сантакреу. Бумаги под рукой не оказалось, и писать пришлось на бумажных салфетках, случайно оставленных санитаркой на тумбочке. А накануне операции Арконада написал стихотворение, посвященное Тарасу Шевченко, Он торопился отправить его в Киев, в редакцию газеты «Литературная Украина», и говорил Сантакреу:

— Там ждут это стихотворение... Не забудь послать сегодня

же... Не беда, что нет подстрочника... В Киеве найдется испанец, знающий русский язык, он сможет перевести...

Через несколько дней после операции Сантакреу снова навестил Арконаду. Худой и бледный, он лежал с полузакрытыми глазами. Щедрое мартовское солнце, пробиваясь сквозь занавески, слепяще светило в большое больничное окно.

Сантакреу знал, что состояние Арконады очень тяжелое, и, войдя в палату, неслышно сел у постели, бережно взял своими большими сильными пальцами исхудавшую руку друга и тихо сказал:

— Сесар, помнишь стихотворение, которое ты дал мне несколько месяцев назад?.. Оно называлось «Свободу испанскому народу!»...

Арконада открыл глаза и, немного подумав, кивнул головой — говорить ему было уже трудно.

— Я послал его Карлосу Паласио в Париж... А сегодня получил от него письмо... Вот оно... Я прочту тебе это письмо...

Знаменитый испанский композитор, революционер, борец за республиканскую Испанию, живущий в Париже, сообщал, что он написал музыку на стихи Арконады и по подпольной радиостанции «Пиренайка» новая революционная песня уже несколько раз передавалась в Испанию...

— Это правда? — с трудом приподнявшись на постели, спросил Арконада, как бы не веря своим ушам,— Паласио?.. Замечательно!..

Он бессильно закрыл глаза и опять откинулся на подушку, и Сантакреу уже подумал, что Арконада заснул, но он вдруг открыл глаза, улыбнулся счастливой улыбкой и проговорил:

— Знаешь, это великое счастье, когда сознаешь, что до последнего вздоха ты нужен своему народу и можешь разговаривать с ним через материки, через океаны, даже через смерть... Через всё... Через всё!..

КОММЕНТАРИЙ К ПОРТРЕТУ

Несмотря на предельно «плотную» программу пребывания в Советском Союзе, Ирвинг Стоун, едва ступив на московскую землю, сказал, что он хотел бы побывать в музеях, где хранятся картины Ван-Гога.

Это желание отнюдь не было случайно: работая над биографическими романами, писатель обычно так «сживается» со своими героями, что уже не расстается с ними всю жизнь.

Роман Стоуна «Жажда жизни» увидел свет почти тридцать лет

назад. С тех пор он завоевал прочную любовь читателей во всем мире, а автор, создавший книгу о Ван-Гоге, по-прежнему мысленно с ним, по-прежнему любит его, интересуется всем, что связано с его трагической жизнью и неистовым творчеством.

...Высокий, седой, с чуть смугловатым лицом, подтянутый и быстрый в движениях, Ирвинг Стоун вошел в зал музея. Писатель не знал в точности, что именно он увидит, да это и не имело для него особого значения: ведь каждое полотно, каждый рисунок Ван-Гога — зека в жизни художника, пусть маленький, но все же штрих его биографии.

В этот час в музее было мало людей, и в зале, где висели картины Ван-Гога, стояла торжественная тишина, нарушаемая лишь шорохом шагов да сдержанным шепотом посетителей.

Вдруг взгляд писателя остановился на портрете, заключенном в массивную раму. Возможно ли?.. Стоун подошел ближе, затем отступил, снова приблизился и долго молча рассматривал портрет.

После длительного молчания Стоун сказал, обращаясь к переводчику:

— С этим портретом связана интереснейшая история... О ней я никогда не писал, и она известна лишь двум-трем моим друзьям... Хотите, я расскажу вам эту историю?..

Стоун и переводчик отошли от портрета, сели на банкетку, и Стоун начал:

— Когда я задумал роман о Ван-Гоге, я объехал все страны и города, в которых бывал Ван-Гог. Я ночевал в тех гостиницах и домах, в которых жил Ван-Гог. Я даже спал на той кровати, на которой Ван-Гог умер.

Я беседовал буквально со всеми людьми, знавшими Ван-Гога, — их справки и сведения оказали мне неоценимую помощь в работе над романом. Среди людей, с которыми свела меня судьба, был арльский врач Феликс Рей. Он лечил Ван-Гога после того, как художник, в припадке безумия, отрезал себе ухо.

Конечно, у Ван-Гога не было ни гроша, чтобы расплатиться с доктором. Да, собственно, тот и не ждал от него гонорара. Но когда Ван-Гог заявил, что хочет в благодарность написать его портрет, доктор не возражал. Рей верил, что кропотливая работа кистью и красками отвлечет больного от гнетущих дум и будет способствовать выздоровлению.

Через некоторое время портрет был готов, и Ван-Гог торжественно преподнес его доктору.

Надо сказать, что доктор Рей считал Ван-Гога совершенно бездарным художником. И если он все же согласился взять

портрет, то только потому, что не хотел обидеть пациента.

Доктор унес портрет домой и решил прикрыть им какую-то дыру в обоях.

Портрет висел долго, никто не обращал на него никакого внимания, как вдруг, в один прекрасный день, к врачу явился какой-то любитель живописи и, увидев портрет, предложил за него хозяину двадцать пять франков.

Сделка состоялась, и вскоре доктор совершенно забыл о портрете.

Прошли годы.

Однажды доктор Рей получил письмо из Москвы. В письме был запрос: действительно ли он, доктор Рей, изображен на портрете Ван-Гога, репродукция с которого прилагается?..

Рассказывая мне эту историю, Феликс Рей вдруг замолчал, потом печально вздохнул и недоуменно развел руками:

«Ну, скажите, мистер Стоун,— говорил Рей,— скажите, мог ли я знать, что мое имя останется в истории только потому, что мой больной написал с меня портрет, которым я прикрывал дыру в обоях?!»

...Портрет доктора Рея кисти Ван-Гога можно увидеть на первом этаже Музея изобразительных искусств имени Пушкина.

ЧЕРНОЛИКИЙ ДРУГ

Один из наших театральных деятелей, недавно побывавший в Америке в составе группы советских туристов, сказал мне: — Вот вы собираете всякие любопытные истории из жизни писателей... Я расскажу вам занятный эпизод, свидетелем которого мне пришлось быть... Возможно, вы используете его при случае...

История, услышанная мною, и впрямь оказалась удивительной.

В Чикаго, в доме председателя местного Общества американо-советской дружбы Манделя Тэйн, на встречу с гостями из СССР собралось много народа — артистов, писателей, рабочих, художников, представителей делового мира. Сквозь тесную толпу приглашенных неожиданно пробился высокий молодой негр.

— Где тут Лев Кассиль? Правда, что он приехал? — еще издали спрашивал он, расталкивая гостей и откидывая длинные вьющиеся волосы.

Негр говорил по-русски совершенно свободно, удивительно чисто, без малейшего акцента.

— Кто из вас Лев Кассиль? — продолжал он.— Как же это мне раньше не сказали, что он входит в вашу группу? Я чуть было уже

не уехал... Я ведь с линии прибыл сюда...

И он помахал рукой, на пальце которой вертелась цепочка с ключом от автомобиля.

Кассиль назвал себя.

— Вы? — обрадованно и вместе с тем недоверчиво воскликнул негр. Он с полудетским радостным изумлением оглядывал писателя с ног до головы.— Нет, честное слово? Вот это здорово... Вот где я вас повидал — в Чикаго! Я ведь на ваших книгах, можно сказать, воспитывался...

— Как?.. Каким образом?..— спросил удивленный писатель.

— Да я семнадцать лет жил в СССР. Отец у меня там работал. И я, как научился читать по-русски, так и взялся за ваши книги, А теперь я — шофер такси. И, честное слово, часто вас вспоминаю. Но никогда не думал, что увижу,— говорил он, продолжая все еще с любопытством рассматривать Кассиля.— Вы для меня — мое советское детство и, между нами говоря, немножко еще и мечта о моем американском будущем. То есть не только о моем, но и о нашем... Понятно?..

Собеседник писателя замолчал, но вдруг, взглянув на часы, виновато улыбнулся:

— Ну, ай бэг ё пардон, извините... Мне надо в машину... Я сегодня еще почти ничего не заработал...

И через минуту под окном заурчал мотор.

...Все это произошло так внезапно и стремительно — и появление негра, и беседа с ним, и его поспешный уход,— что Кассиль смог осознать случившееся уже поздно вечером, когда приехал в отель. И тут-то он спохватился, что в волнении и спешке не записал ни имени, ни адреса своего заокеанского питомца-читателя. Но, может быть, он прочтет эти строки и откликнется, этот чикагский шофер, черноликий друг советского писателя?!..

ОШИБКА БРЮСОВА

Сергей Петрович Бородин, подарив мне с дружеской надписью свой роман «Звезды над Самаркандом», сказал, как всегда, с оттенком легкой иронии:

— Если в вашей «копилке литературных курьезов» есть еще место — могу сообщить любопытный случай. О нем я почему-то вспомнил сейчас, когда надписывал вам роман.

Разумеется, я тотчас же извлек блокнот и услышал следующую историю, и комичную и поучительную одновременно.

— Почти невозможно предвидеть, как сложится творческая судьба того или иного художника, трудно угадать, как, когда и на

каком пути раскроется его дарование. В этом вопросе порой ошибаются даже признанные литературные авторитеты.

Я, например, начал сочинять в девятилетнем возрасте — писал маленькие очерки и печатал их в разных приложениях к детским журналам. В то время я считал себя писателем в большей степени, чем теперь. Затем увлекся живописью, твердо решил стать пейзажистом и долгие часы проводил в студиях Пролеткульта. Потом подумал, что прежде, чем стать живописцем, надо получить широкое гуманитарное образование, и с этой целью в тысяча девятьсот двадцать втором году поступил в Литературный институт, которым руководил Валерий Яковлевич Брюсов.

Вскоре для меня стало очевидным, что я буду заниматься литературным трудом. А литературный труд виделся мне лишь в поэзии — тогда я писал и печатал только стихи,

В двадцать четвертом году, вернувшись в Москву из Бухары, я написал несколько рассказов, которые позже вошли в книгу «Последняя Бухара». Я дал их прочитать Брюсову. Он прочитал и сказал:

«Нет, прозаик из тебя не получится; проза требует большей твердости, а ты прирожденный поэт».

Но в данном случае Брюсов ошибся,— поэт из меня так и не получился...

ПОИСКИ «КОНЯ»...

— Тридцать лет назад я работал репортером в ульяновской газете «Пролетарский путь».

Однажды я узнал, что в Ульяновск приехала Мариэтта Сергеевна Шагинян.

Она поселилась в гостинице — большом каменном трехэтажном здании, в котором, по преданию, был заключен Пугачев.

В то время я писал небольшие рассказы, но печатать их стеснялся. Опубликовал только один рассказ — подражательный рассказ «Пахом»,— его я послал на конкурс, объявленный ульяновской городской газетой.

С трепетом вошел я в гостиницу. Я чувствовал неодолимую потребность показать свои рассказы такой крупной писательнице, посоветоваться с ней, узнать ее мнение.

Мне сказали, что номер, в котором остановилась Мариэтта Сергеевна, находится на втором этаже.

По решетчатым чугунным ступеням я поднялся на второй этаж, подошел к двери и робко постучал.

Молчание.

Я постучал более решительно.

Никакого ответа.

«Она плохо слышит,— сказал проходивший мимо истопник, неся охапку дров.— Возьми полено да и стукни в дверь как следует!..»

Я постоял несколько минут в раздумье, затем выбрал кругляш и энергично стукнул в дверь.

Послышались шаги, дверь распахнулась, и в неясном свете зимнего дня я увидел фигуру женщины в халате. Она чем-то напоминала слетевшую с насеста птицу.

«Вы почтальон?» — спросила она.

«Нет, я не почтальон»,— ответил я.

«А кто же вы?..»

От волнения я не мог произнести ни слова.

«Мариэтта Сергеевна, я пишу... рассказы...» — наконец выдавил я.

Услышав эту фразу, писательница поморщилась и сказала:

«Ну, входите...»

Она предложила мне сесть и спросила, что я пишу и о чем. Она внимательно слушала, одобрительно кивала головой, иногда улыбалась и вдруг совершенно неожиданно спросила:

«Скажите, кто сейчас командует республиканскими войсками в Испании?..»

Я почувствовал, что холодею. Как на грех, я запамятовал фамилию нового командующего.

«Не знаю»,— честно признался я.

Тут произошло невероятное.

Гневно вращая глазами, писательница замахала руками и стала кричать:

«Как же вы хотите стать писателем и не знаете, кто сейчас командует республиканскими войсками в Испании?.. Как вы можете не знать таких крупных событий международной жизни?..»

Она долго еще бушевала и отчитывала меня, и я готов был провалиться со стыда сквозь все этажи этой чертовой гостиницы.

Постепенно Мариэтта Сергеевна успокоилась, гнев ее прошел, и она сказала:

«Ладно... Оставьте ваши рассказы и заходите в это же время через неделю...»

Я ушел в тягостном настроении, убитый и удрученный.

Всю неделю я терзался сомнениями, думая только о предстоящем свидании.

В назначенный час я подошел к заветным дверям.

Теперь меня уже не нужно было учить, как их открывать. Я выбрал аккуратное поленце, стукнул в дверь и через минуту увидел Мариэтту Сергеевну. Она улыбалась.

«Будем пить чай с вареньем!» — сказала она.

«Боже! — пронеслось в голове.— Если меня встречают чаем с вареньем, значит, я написал великолепные рассказы!..»

Мариэтта Сергеевна усадила меня рядом с собой и стала расспрашивать, сколько мне лет, кто мои родители, кого я люблю из писателей.

Я все ждал, что она заговорит о моих рассказах, но Мариэтта Сергеевна молчала.

После чаепития писательница сказала:

«А теперь поговорим о ваших рассказах...»

Из ее слов я понял, что я человек не без способностей, что один рассказ она могла бы рекомендовать какому-нибудь московскому журналу, но не советует печататься...

«У вас еще нет своей темы,— сказала она.— Нет своего коня. Ищите своего коня!.. И когда вы найдете его, можете смело въезжать в литературный ряд... Пусть грива вашего коня будет не очень хорошо подстрижена — не беда! Зато все увидят, что вы сидите на коне!..»

...Что значит «искать своего коня», я понял много позже, когда вплотную столкнулся с жизнью. Постепенно деревня, дорогая мне с детских лет, стала предметом моей писательской любви, и когда в тысяча девятьсот сорок втором году я разъезжал в качестве корреспондента по Алтаю, я почувствовал, как во мне накапливается огромный жизненный материал, как постепенно из этого материала складывается замысел моего первого романа «Горячие ключи».

В «промежутке» между беседой в ульяновской гостинице и первым романом я написал пятьдесят рассказов. Все они были для меня как ступеньки, как подступы к роману...

...Елизар Мальцев улыбнулся и заключил:

— Я вспомнил об этой встрече сегодня, когда мы с тобой проходили по Плотникову переулку, мимо высокого серого дома, на самом верху которого живет Мариэтта Сергеевна.

ДИАЛОГ ДРАМАТУРГОВ

В 1940 году Комитет по делам искусств заказал Алексею Толстому, Илье Сельвинскому и Владимиру Соловьеву пьесы об Иване Грозном.

Соловьев и Толстой были в дружеских отношениях. Встретив однажды Соловьева в Доме актера ВТО, Толстой спросил его с

добродушной усмешкой:

— Слушай, ты действительно будешь писать об Иване Грозном?

— Да,— ответил Соловьев.

— А разве ты не знаешь, что и я буду писать?

— Знаю.

— И все-таки будешь?

— Буду,— сказал Соловьев и рассмеялся.

— Ну и нахал же ты, братец! — воскликнул Толстой.— Неужели ты не понимаешь, что это и материал мой, и эпоху я знаю лучше?.. Как друг тебе говорю: не советую писать, не советую...

— Я знаю, что ты советуешь мне как друг,— сказал Соловьев, — только ты не учитываешь, что я буду писать в стихах, а ты — в прозе. А это решающее обстоятельство.

— В чью это пользу решающее? — спросил Толстой.

— В мою, конечно,— ответил Соловьев.— Ты вспомни хоть одну историческую пьесу, написанную в прозе, чтобы она пережила свое время... На историческую тему подолгу живут только пьесы, написанные в стихах.

Толстой задумался.

— Это почему же? — спросил он,

— Пойми: я сразу начну действие. Мне не надо ни бытовых подробностей, ни соответствующих обрядов, ни мотивировок. Белый стих — язык торжественный, а прошлое в глазах поздних поколений всегда выглядит торжественно. В прозе же надо быть обязательно бытописателем. И язык у тебя будет более неуклюжим, каким он в действительности был в то время, и на бытовые мотивировки у тебя уйдет половина времени, и романтического начала того не будет, которое в исторической пьесе совершенно необходимо. И проиграть тебе это соревнование досадно потому, что, по мнению всех, ты начинаешь его с гораздо большими данными, тогда как на самом деле гораздо больше данных у меня. Просто по точности фокуса, который дает стихотворная форма.

Присутствовавший при этом разговоре народный артист Анатолий Горюнов заметил с улыбкой:

— А ведь в том, что говорит Соловьев, ей-богу, есть какая-то сермяжная правда, Алексей Николаевич... Ни одной исторической пьесы, написанной в прозе, не помню: и «Мария Стюарт», и «Ричард III», и все исторические хроники Шекспира, и «Орленок» — все в стихах...

Толстой нахмурился.

— Ну ладно, пиши,— сухо сказал он.

И Толстой написал вместо одной пьесы — две. Но прошли они только в четырех театрах Советского Союза.

Когда в 1944 году Соловьев случайно встретился с Толстым, Алексей Николаевич был уже тяжело болен. Усмехнувшись, он сказал:

— Знаешь, досаднее всего не то, что ты оказался прав насчет стихотворной формы, а то, что кое-кто думает, что ты действительно лучше меня написал...

— Ну, это не важно, Алексей Николаевич,— сказал Соловьев, — мы-то с тобой знаем, в чем тут дело...

К ИСТОРИИ «ПУШКИНА»

В 1923 году журнал «Россия» опубликовал повесть «Записки на манжетах», принадлежавшую перу никому не известного автора — Михаила Булгакова.

Автор повести, обратившей на себя внимание читателей, работал в то время репортером в газете «Гудок». Жил он бедно, постоянно нуждался, ходил в дырявых башмаках и в старом, потрепанном пальто.

Незадолго до этого он приехал в Москву из глухой провинции и в тайниках души мечтал познакомиться с Викентием Викентьевичем Вересаевым.

Он хотел пожать руку автору «Записок врача» — книги, которая взволновала его еще в те дни, когда он и не мечтал о литературной деятельности и работал земским врачом.

Дождливым осенним вечером Булгаков позвонил в квартиру Вересаева.

Дверь открыл сам писатель.

— Булгаков,— смущенно представился вошедший.

И от волнения почему-то снял галоши.

— Чем могу служить? — спросил Вересаев.

— Да, собственно, ничем, Викентий Викентьевич,— виновато пробормотал Булгаков, как бы оправдываясь за внезапное вторжение,— просто хотел пожать вам руку... Ваша книга «Записки врача» очень мне понравилась...

Вересаев промолчал.

— Ну, до свидания,— после минутного неловкого молчания сказал Булгаков и стал надевать галоши.

— Погодите, а фамилия-то как ваша? — спросил Вересаев, приставляя к уху сложенную рупором ладонь.

— Булгаков.

— Как?

Булгаков повторил фамилию несколько громче, догадавшись,

что Вересаев плохо слышит.

— Булгаков?.. Михаил?..

— Да.

— Так это вы — автор «Записок на манжетах»?

— Я самый.

— Голубчик вы мой,— воскликнул Вересаев,— что же вы мне раньше не сказали?.. Раздевайтесь, пожалуйста, заходите, гостем будете!..

Так Булгаков познакомился с Вересаевым.

Прошло несколько лет. Булгаков стал известным драматургом. На сценах московских театров — Художественного, Камерного и Театра имени Вахтангова — с большим успехом шли его пьесы: «Дни Турбиных», «Багровый остров», «Зойкина квартира».

И вдруг одна за другой были сняты с репертуара все пьесы, прекратились репетиции новых. Чуть ли не ежедневно некоторые ретивые критики травили Булгакова, обвиняя его во всех смертных грехах.

Для драматурга наступили черные дни: его не печатали, он нигде не мог найти работу, о постановке пьес не могло быть и речи.

Булгаков стойко, с фанатической верой в свою правоту и в свои силы переносил это тяжелое время. Все, что можно было продать, он продал, жить дальше было не на что.

Как-то открывается дверь — входит Вересаев.

— Я знаю, Михаил Афанасьевич, что вам сейчас трудно,— сказал Вересаев своим глухим голосом, вынимая из портфеля завернутый в газету сверток.— Вот возьмите... Здесь пять тысяч... Отдадите, когда разбогатеете...

И ушел, даже не выслушав слов благодарности.

Однажды Булгаков пришел домой радостно-возбужденный.

— Новая пьеса... — еще на пороге загадочно шепнул он жене. — Есть новая пьеса...

В тот момент он больше ничего не сказал.

А вечером раскрыл секрет:

— Понимаешь, — говорил Михаил Афанасьевич,— это будет пьеса о Пушкине. Но без Пушкина. Его зрители не увидят. И знаешь,— заключил он, — я надумал пригласить в соавторы Вересаева.

— Зачем?.. Зачем тебе соавтор?..

— Надо,— твердо ответил Булгаков.— Ведь в самое трудное время он помог нам.

И через минуту:

— Собирайся, поедем...

— Куда?

— К Вересаеву.

Спустя полчаса Булгаков с женой были уже у Вересаева.

— Вот дело какое, Викентий Викентьевич,— смущенно заговорил Булгаков.— Задумал я пьесу о Пушкине.

— О Пушкине? — переспросил Вересаев.— Очень хорошо... Очень...

— Да, Викентий Викентьевич, но Пушкина в пьесе не будет.

— Как не будет?.. Это очень плохо...

И Булгаков, увлекаясь, начал говорить о своей будущей работе. По тому, как оживленно и красочно рассказывал Булгаков, по тому, как он передавал содержание одной картины за другой, можно было понять: пьеса окончательно, в мельчайших деталях сложилась в его мозгу, он видел пьесу на сцене, чувствовал и слышал ее героев.

Закончив рассказ, Булгаков сказал:

— Вот и все, Викентий Викентьевич... А теперь еще одно дело: хочу пригласить вас в соавторы... У вас богатейший материал... Вы написали книгу о Пушкине... Пусть будет так: ваш материал — моя драматургия...

Вересаев, внимательно слушавший своего собеседника и ни разу не прервавший его, при этих последних словах вскочил, заволновался, забегал по комнате:

— Нет, нет и нет!.. Ни в коем случае!..— восклицал он.— Вы такой талантливый драматург!.. Не нужен вам соавтор... К тому же я вижу, что пьесу вы задумали не так, тему разрешаете неправильно... Где же, позвольте вас спросить, дуэль?

Булгаков внешне спокойно слушал тираду Вересаева. Когда Викентий Викентьевич несколько успокоился и страсти, казалось, улеглись, Булгаков вновь принялся убеждать Вересаева согласиться.

— Поймите,— говорил Булгаков,— будут две фамилии... По алфавиту... Моя и ваша... Все пополам...

Вересаев был взволнован и озадачен. Несколько минут он сидел неподвижно, погруженный в раздумье. Неожиданно он быстро встал, подошел к Булгакову, порывисто обнял его и поцеловал.

Два месяца с утра и до вечера Булгаков работал над пьесой. Он писал со страстной увлеченностью, забыв обо всем на свете. Каждую законченную картину он читал Вересаеву. Но всякий раз работа Булгакова вызывала у Вересаева сомнения, возражения. Разгорались ожесточенные споры, которые иногда длились несколько часов.

Когда пьеса наконец была написана и с Театром имени Вахтангова достигнута договоренность о читке, Булгаков неожиданно получил пакет от Вересаева. Михаил Афанасьевич вскрыл пакет: пьеса о Пушкине.

— Какой золотой старик! — с восхищением воскликнул Булгаков.— Не удержался все-таки, написал пьесу!..

Оказалось, что Вересаев, никогда не выступавший в драматургии и плохо знавший законы сцены, написал слабую, плохую пьесу. Михаил Афанасьевич так и отозвался о ней в телефонном разговоре с Вересаевым.

— Дайте ее в театр,— советовал Булгаков Вересаеву.— Если театр примет ее, я свою пьесу положу в письменный стол и, клянусь вам, не буду даже вспоминать о ней...

Вересаев не послушался Булгакова и пьесу театру не отдал.

Настал день читки.

Читал Булгаков свою пьесу мастерски, с необыкновенным подъемом. Едва он закончил чтение, артисты начали бурно и радостно аплодировать. Булгаков вытащил из первого ряда Вересаева и, как бы утверждая его моральное соавторство, чуть ли не силой заставил Викентия Викентьевича кланяться.

...После того как пьеса начала идти в театрах, Управление по охране авторских прав, согласно завещанию Булгакова, высылало Вересаеву половину авторского гонорара.

Высылало до последних дней жизни не только Викентия Викентьевича, но и его жены.

СТИХИ АНЖЕЛИКИ САФЬЯНОВОЙ

Весной 1918 года на прилавках книжных магазинов появилась новинка — «История и стихи Анжелики Сафьяновой». Книга эта давно уже стала библиографической редкостью — о ней знают лишь немногие старые библиофилы, да и то понаслышке.

Мне давно хотелось познакомиться с книгой Сафьяновой, тем более что в некоторых номерах «Сатирикона» и других дореволюционных журналах я часто встречал ее стихи. Но книги Сафьяновой в библиотеках не оказалось.

Тогда мне пришла в голову мысль разыскать автора или хотя бы ее родственников. Я решил справиться в Литфонде: не оказывает ли Литературный фонд материальной помощи поэтессе Анжелике Сафьяновой или ее близким?

Мне ответили:

— В списках Литфонда поэтесса Сафьянова никогда не значилась...

Мне ничего не оставалось делать, как примириться с

неосуществленной мечтой и при случае наводить справки у литераторов старшего поколения.

...Недавно писатель Николай Павлович Стальский, которому я сообщил о своих безуспешных поисках, сказал:

— Почему бы вам не обратиться к Никулину?.. Он хорошо знает дореволюционную поэзию и мог бы оказать вам большую пользу...

На следующий день я пришел к Льву Вениаминовичу Никулину. Писатель молча выслушал мой рассказ, улыбнулся и ничего не ответил. Он медленно поднялся из-за письменного стола и подошел к книжному шкафу. Он не спеша открыл шкаф, порылся в книгах и через несколько минут положил на стол светло-коричневую, в форме общей тетради, книгу. Я взглянул на нее и — оторопел. На переплете было напечатано: «Л. Никулин. История и стихи Анжелики Сафьяновой».

— Что это значит? — спросил я, совершенно ошеломленный. — При чем тут ваша фамилия?..

Никулин рассмеялся:

— А при том, что я сам писал эти стихи... Никакой Анжелики Сафьяновой в природе не существовало, хотя в книге и напечатан ее портрет...

— Что же это такое?.. Литературная мистификация?

— Совершенно верно...

Я попросил Льва Вениаминовича рассказать мне историю этой книги и вот что от него услышал:

— Начиная с тысяча девятьсот тринадцатого года я печатал в разных журналах свои стихи, которые подписывал псевдонимом: Анжелика Сафьянова. По существу, это были пародии на модные в то время сентиментально-интимные стихи о любви. К моему удивлению, редакции принимали стихи всерьез. Они считали их настоящими лирическими стихотворениями и твердо верили, что стихи понравятся читателям. Так и случилось, Узкому кругу читателей мои иронические и претенциозные стихи нравились, и читатели были убеждены, что действительно существует поэтесса Анжелика Сафьянова.

— Но как же вам удалось издать эту книгу уже после революции?

— О, это очень забавная история,— ответил Никулин.— Однажды в знакомом профессорском доме мы играли в карты. Среди нас был художник-дилетант, А.— очень состоятельный молодой человек. В этот вечер ему чертовски везло, хотя он абсолютно не нуждался в выигрыше.

Игра закончилась на рассвете. Художник, забрав со стола

выигрыш, сказал:

«Надо бы употребить эти деньги на что-нибудь полезное или хотя бы занятное... О, послушайте, я знаю, что я сделаю! — после минутной паузы воскликнул художник.— Я издам на этот выигрыш стихи, которые мне давно нравятся, я их вырезаю и всегда удивляюсь, почему не издают?..»

«Чьи же это стихи?» — поинтересовался я,

«Стихи Анжелики Сафьяновой,— сказал он и рассмеялся.— Но гонорара, Никулин, вы не получите... Моего выигрыша на гонорар не хватит...»

Было еще очень рано, когда мы с художником вышли на улицу. Улицы были безлюдны. Откуда-то издалека доносились беспорядочные выстрелы — время было тревожное.

Мой «меценат» размышлял вслух:

«Гм... бумага и типография... за этим дело не станет... У меня есть друзья, они устроят... Еще существуют маленькие частные типографии...»

«Ну, а издательство? — робко спросил я.— Нужно же на титульном листе указать марку издательства...»

«Чепуха!» — решительно сказал он.

В этот момент мы проходили мимо афишной тумбы. На одной из афиш мы прочли название оперетты: «Зеленый остров».

«Вот! — воскликнул художник.— Так будет называться наше издательство — «Издательство «Зеленый остров»... Звучит?»

Так через месяц в мифическом издательстве «Зеленый остров» вышла книга, которая лежит перед вами. Конечно, мой «меценат» не мог отказать себе в удовольствии украсить книгу портретом своей жены — изображением никогда не существовавшей Анжелики Сафьяновой.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Страстная площадь, 1926 год. Кинотеатр «Ша нуар», ныне — «Центральный» на площади Пушкина. В те годы здесь помещался клуб Коммунистического университета трудящихся Востока. При клубе был театр. Он носил странное название — «Метла». Это слово расшифровывалось так: «Московская единая театральная ленинская артель».

В одно туманное осеннее утро здесь шла генеральная репетиция спектакля «ПЭК» — «Первого эстрадного комплекса» — обозрения, сочиненного актерами. То были молодые, горячие сердца, страстно преданные революции, увлеченные идеей борьбы с буржуазными пережитками в быту и сознании людей. Не случайно и сам театр назывался «Метла». Уже одно это название

как бы говорило зрителям: театр будет выметать из нашей жизни негодное, мещанское, отжившее. Отрицая старое театральное искусство, как, впрочем, все, что досталось в наследство от старого мира, они жадно искали в искусстве новых путей и форм, чтобы выразить бушевавшие в их душах чувства.

...Сцена изображает поле боя. Слышатся стоны раненых. Около режиссерского столика — хохот.

Режиссер с палкой в руках бросается на сцену и кричит на одного из актеров:

— Если ты не можешь стонать, как человек, убирайся отсюда!..

Актер стонет, как может.

Режиссер кричит:

— Вон!..

Члены художественного совета хохочут, а актера-неудачника с позором прогоняют со сцены.

Один из членов художественного совета говорит режиссеру:

— Сжальтесь над ним!.. Ему только семнадцать лет... Он еще научится стонать!..

Репетиция продолжается.

Вечером — спектакль. В зале пусто. Никакого интереса у небольшого числа зрителей спектакль не вызвал.

— Какая чепуха! — говорили они, расходясь.— Весь вечер нам показывали одну темноту!..

После спектакля члены художественного совета понуро бредут по Тверскому бульвару. Все думают о провале спектакля и о том, сколь тернист путь истинных служителей искусства.

Это были: режиссер Николай Экк, впоследствии поставивший «Путевку в жизнь», неудачный актер — Исидор Шток, ныне известный советский драматург, члены художественного совета — поэты Назым Хикмет, Виктор Гусев и индийский драматург Эс Хабиб Вафа.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПСЕВДОНИМА

Когда в газетах промелькнуло сенсационное сообщение, что автор «Овода» Этель Лилиан Войнич, оказывается, здравствует и живет в Нью-Йорке и что в гостях у нее побывала группа советских писателей,— мне по какой-то невольной ассоциации подумалось: никто из наших литераторов не состоит с Войнич в таком «духовном родстве», никто не связан с ней так тесно, как Людмила Андреевна Ямщикова. Между тем советская писательница не только ни разу не видела Этель Войнич и никогда не переписывалась с ней, но даже не знала, жива ли она.

...Это случилось почти полвека назад.

Группа гимназисток-—учениц последних классов гимназии — возвращалась в Петербург после экскурсии по Кавказу. Среди них была и Люся Ямщикова. Устав от обилия впечатлений и продолжительной поездки по железной дороге, девушки томились и скучали в вынужденном бездействии. И тогда, чтобы хоть немного развлечь товарок, Люся предложила им попробовать свои силы в «литературе». Это громкое слово понималось весьма скромно: в пределах обычного гимназического сочинения на «вольную тему».

— А что писать? — спросили подруги.

— Да что угодно!.. Ну хоть воспоминания о местах, где мы только что были... О горах, о море... Что захочется, что вообразится!..

Девочки подумали, потолковали друг с дружкой,— тем дело и кончилось. Отозвалась только одна. И вот Люся и ее подруга погружаются в «творчество», хотя отлично знают, что оно не сулит им никаких благ, в виде одобрения учителя или хорошей отметки в «четверти».

Произведение Ямщиковой было явно «революционного» характера. Некий смелый и гордый юноша, живущий со своим племенем на одном из склонов Кавказских гор, решает спасти народ от злобного духа — Эльборуна, который веками грабил и мучил людей. Юноша бесстрашно идет на бой в царство вечных льдов и, конечно, побеждает врага. Ледяной трон Эльборуна рассыпается в прах, а сам Эльборун проваливается в глубь земли...

Вернувшись домой, Люся поделилась «пробой пера» со своей матерью — писательницей Маргаритой Владимировной Ямщиковой, известной в нашей литературе под псевдонимом «Ал.Алтаев». Маргарита Владимировна посоветовала послать «Гнев Эльборуна» — так назвала юная писательница свое произведение — в редакцию журнала «Всходы».

«Гнев Эльборуна» был принят к печати. Возник вопрос: каким именем подписать рассказ-легенду?

Ямщиковой не нравилась ее фамилия, хотя многие уверяли, что в ней слышится импонирующая читателям «удаль». Автор решил скрыться под псевдонимом. Но под каким?

И вдруг Люсе вспомнился «Овод» — роман о бесстрашном борце за счастье людей, книга, которая оставила глубокий след в ее душе... Сколько раз со слезами на глазах она перечитывала отдельные страницы романа!.. Зита Рени, влюбленная в Артура Бертона, называла его ласково и трогательно: «Феличе»... Артур

Феличе! Как красиво звучит, а главное — это имя героя романа! Так пусть же так и будет: «Арт.Феличе». Под этим псевдонимом журнал «Всходы» в феврале 1912 года и опубликовал первое произведение молодого автора.

С тех пор, вот уже пятьдесят три года, Людмила Андреевна Ямщикова выступает в литературе под именем «Арт.Феличе». Более полувека этот псевдоним живет в ней как часть ее души и сердца...

Рассказать же об этом «духовном родстве» меня побудила последняя книга Ямщиковой — исторический роман, выпущенный Детгизом в начале 1959 года. На переплете и титуле напечатано: «Арт.Феличе. Морские нищие».

Вскоре после того как в печати появились сообщения, что Войнич жива, я навестил Людмилу Андреевну Ямщикову в ее маленькой, уютной квартирке в высотном доме на Котельнической набережной.

— Как это невероятно, как неожиданно и как радостно! — с восторженным изумлением говорила мне писательница.— Войнич жива!.. Я написала ей письмо и сегодня с утра только и занималась тем, что добывала ее адрес...

И Людмила Андреевна протянула мне приготовленное к отправке письмо. Оно очень трогательно, это маленькое письмецо одного писателя другому, и мне хочется привести его полностью:

«Дорогой мой учитель Этель Войнич!

Разрешите мне назвать Вас этим словом, хотя я и не имею счастья знать Вас лично.

Ваша книга «Овод» полвека назад произвела и на меня огромнейшее впечатление. Она помогла формированию моего характера.

До сих пор во мне живы воспоминания далекого детства. Я говорю это потому, что избрала своим псевдонимом имя главного героя Вашего романа. Вот уже 48 лет, как я выступаю в литературе под именем «Арт.Феличе».

Пусть к многочисленным письмам с выражением любви к Вам прибавится и мое.

Живите и здравствуйте долгие годы.

С глубоким уважением и любовью.

Арт.Феличе (Л.А.Ямщикова)».

ПОПРАВКА ПО СУЩЕСТВУ

В вестибюле Центрального Дома литераторов собрались писатели, журналисты, фотокорреспонденты.

Ждали Эдуардо де Филиппо.

Он приехал в начале одиннадцатого, сразу после спектакля, уставший, со следами только что смытого грима на характерном худощавом лице с высоким покатым лбом и тоненькой ниточкой серебристых усов.

Свободно и просто, как входят в дом истинных друзей, он вошел, встреченный аплодисментами, и, на ходу пожимая руки, упругой походкой, слегка наклонив голову, направился в Малый зал.

Он сел за круглый стол у самой сцены.

Сергей Смирнов приветствовал Эдуардо де Филиппо не только как большого друга Советского Союза и талантливого драматурга, но и как замечательного артиста и режиссера — генерала от искусства, как выразился Смирнов.

Эдуардо де Филиппо встал. С минуту он молча оглядывал зал, словно изучая его. Затем начал говорить. Он сказал, что глубоко взволнован приемом и словами, обращенными к нему.

Он говорил, и его подвижное лицо, как бы в такт мыслям, ежесекундно меняло выражение, а глаза — большие, светлые, чуть выпуклые глаза под тяжелыми веками — становились то пристально-зоркими, то задумчивыми, то иронически улыбающимися.....

Свою речь он закончил так:

— Я приехал в вашу великую страну не как генерал, а как солдат... Как солдат искусства... И если вы предлагаете мне звание генерала — я от него отказываюсь. В искусстве нет и не может быть генералов!..

СУВЕНИР

Я пришел к писателю Леону Островеру, чтобы взять у него интервью о том, как он работал над книгой о Тадеуше Костюшко.

В разгар беседы в моей авторучке кончились чернила. Я попытался было взять авторучку, лежавшую на столе писателя, но Островер запрещающим жестом остановил меня,

— Нельзя?..— удивленно спросил я.— Почему?..

Островер помолчал, затем таинственно улыбнулся.

— Не рассматривайте мой поступок как причуду старика,— заговорил он мягко, точно оправдываясь.— Послушайте-ка лучше историю этой ручки...

...Случай, о котором я хочу рассказать, произошел зимой тысяча девятьсот двенадцатого года — ровно пятьдесят лет назад.

В то время я учился в Берлинском университете. По субботним вечерам мы собирались в кафе «Монополь». Традиционные встречи в кафе с непременными дискуссиями, чтением стихов, жаркими спорами, обменом литературными новостями приятно разнообразили нашу чинную академичную жизнь. Однажды в кафе появился Шолом-Алейхем. Он направлялся на лечение в Италию и по пути остановился в Берлине, чтобы проведать свою дочь и ее семью. Сюда, в «Монополь», Шолом-Алейхем пришел со своим зятем — Микаэлем Койфманом, начинающим писателем и моим товарищем по университету.

Беседа за столом, как всегда, была оживленной, страстной. И хотя в этот вечер кафе заполнила главным образом молодежь, самым остроумным и блестящим был Шолом-Алейхем, тогда уже тяжело больной.

Но вот закончился наш вечер, страсти улеглись, и мы вышли на Фридрихштрассе. Падал первый снег. Мы, уроженцы России, обрадовались снегу, который в те минуты напомнил нам Родину. И вдруг большой, грузный Шолом Аш, словно бы угадав общее настроение, начал стремительно забрасывать нас снежками. Мгновенно в игру включился Шолом-Алейхем. В этот момент подошел толстый шуцман. По его хмурому лицу не трудно было догадаться, что он полон решимости одернуть разыгравшихся иностранцев. Но, взглянув на пожилого, улыбающегося, возбужденного Шолом-Алейхема, рассмеялся и, отойдя в сторону, с интересом наблюдал за игрой.

Расставаясь, Шолом-Алейхем пригласил меня на следующий день в гости к Микаэлю Койфману.

Здесь я уже встретил совершенно другого Шолом-Алейхема — глубокого, серьезного, пытливого, слегка иронического, жадно интересующегося самыми разнообразными вопросами — от краковского средневековья и поэзии польского поэта Выспянского до методов преподавания в высших учебных заведениях.

Узнав, что, еще будучи гимназистом, я выпустил книжку стихов, Шолом-Алейхем попросил меня прочесть какое-нибудь стихотворение из этой книжки. Сейчас-то я понимаю, что это были мальчишеские стихи, но тогда я считал себя настоящим поэтом и держался самоуверенно. Шолом-Алейхем слушал очень внимательно, откинувшись на спинку стула. Время от времени он шевелил рукой свои густые, с проседью волосы или пощипывал коротко подстриженную бородку. Ох, и досталось же мне от него и за плохие стихи, и за выспренность стиля, и за пессимистические нотки, которыми была полна моя «поэзия»!

Видя мое огорченное, убитое лицо, Шолом-Алейхем

неторопливо открыл письменный стол, достал черную, с серебряным ободком авторучку — в те годы это была дорого стоящая новинка — и вложил ручку в верхний карман моего пиджака.

«Желание писать у вас есть,— сказал он серьезным тоном, как бы подчеркивая этим значительность момента.— Умение придет. Ручкой вы обеспечены. Теперь надо трудиться. И если будете трудиться, станете хорошим писателем».

...Ручка, подаренная Шолом-Алейхемом, всегда на моем письменном столе. Все свои книги я написал этой ручкой. Я никому не разрешаю ею пользоваться и никогда не выношу ее из дома — боюсь случайной поломки или потери...

Ну, а теперь продолжим нашу беседу!..

ИНТЕРВЬЮ

Их уже осталось немного, этих старых театральных репортеров — последних представителей уходящего, но гордого племени «всесведущих». Для них театр был роднее дома, дороже семьи. Они знали все — имя и отчество любого режиссера, актера или актрисы, замыслы драматургов, планы театров; как бы ни был переполнен зрительный зал, они всегда получали пропуск на лучшее место.

С одним из таких журналистов — Яковом Черновым — я сижу в жаркий летний день в кафе Дома актера. Мой собеседник лениво тянет холодный нарзан и говорит:

— Я не знаю, известно ли тебе, что Мейерхольд не любил нашего брата, нервничал, когда в печати появлялась какая-нибудь информация о его театре, и по-актерски суеверно остерегался сообщать о постановке до премьеры.

Предметом моей постоянной гордости было то, что я, как мне казалось, пользовался расположением Всеволода Эмильевича.

Однажды — кажется, это было в тысяча девятьсот тридцать втором году — я условился с Мейерхольдом о встрече. В назначенный час я вошел в его кабинет. Здесь висели тяжелые портьеры, плотно занавешивавшие окно и дверь.

В кабинете никого не оказалось.

Я провел в одиночестве минут пятнадцать, и мне стало скучно. Я потянулся в кресле, запрокинул руки за голову и зевнул. Вдруг я почувствовал, что мне неудобно сидеть. Подвернув под себя ноги, я забрался в кресло поглубже. Прошло еще минут пять. Я взял со стола газету, машинально просмотрел ее и положил на место. В этот момент мое внимание привлекла кожаная папка, лежащая на столе. Я открыл ее и увидел... список

ролей. Я тут же их переписал. Затем встал, прошелся по кабинету, остановился у зеркала, посмотрел на себя в зеркало и, сам не знаю почему, вдруг высунул язык.

В это время послышался ехидный смешок, и из-за портьеры вышел Всеволод Эмильевич.

«Вот спасибо! Вот спасибо! — сказал он, довольно потирая руки.— Это именно мне и нужно было!..»

Я покраснел до корней волос и, смешавшись, недоуменно посмотрел на Мейерхольда. Он тут же пояснил свою мысль:

«Видите ли, я очень интересуюсь тем, как ведет себя человек наедине с собой. Не раз мне приходилось убеждаться, что он ведет себя довольно глупо. И вы только что дали этому красноречивый и убедительный пример. Как несуразно вы вели себя!.. Ну, посмотрите: вас буквально корчило в кресле, ваши движения не были координированы, и логическим завершением вашего поведения с самим собой явилось то, что вы сами себе показали язык!..»

Это была единственная длинная фраза, которую произнес Мейерхольд во время нашей встречи. На беседу же о своей новой постановке он затратил буквально одну минуту, после чего встал, дав понять, что аудиенция окончена.

— А насчет того, что ты тайком переписал роли, он тебе ничего не сказал? — спросил я.

— Представь себе — ни слова!..

ИНКОГНИТО

В каюту капитана среднего рыболовного траулера «Всадник» вошел длинный худой парень в «столичном» пальто и пушистой шапке, Поздоровавшись, он протянул капитану служебную записку отдела кадров Мурманского сельдяного флота, в которой говорилось, что «Волосевич Георгий Николаевич направляется на СРТ-849 «Всадник» в качестве матроса II класса».

Капитан траулера, Михаил Николаевич Черкунов, прочел направление, оценивающе посмотрел на парня, острым взглядом смерил его с головы до ног и сказал:

— Хорошо... Теперь иди к боцману...

Боцман выдал матросу белье, телогрейку, сапоги, рукавицы, рыбацкую каску-зюйдвестку и зеленый непромокаемый костюм-«рокан».

— Плавал? — спросил дрифмейстер — «мастер лова».

— Ни разу,— честно признался новичок.— Не плавал даже пассажиром...

— Ничего,— сказал дрифмеистер.— Не утонешь. Пойдешь

вожаковым...

— Вожаковым так вожаковым... А что это такое?

— В море увидишь.

Описанная выше сцена произошла спустя несколько месяцев после того, как редакция «Нового мира» опубликовала повесть Георгия Владимова «Большая руда».

К этому времени писатель задумал новую работу — повесть о рыбаках.

Но как писать, не испытав на себе то, что лишь услышано от знакомых моряков, увидено чужими глазами, проверено лишь чужим опытом? Ведь самые захватывающие рассказы «морских волков» не заменят собственных ощущений, без которых не была написана ни одна мало-мальски стоящая книга.

Конечно, автор нашумевшей повести мог получить командировку от любой редакции и явиться на корабль в роли «путешествующего литератора». Но эту роль писатель решительно отверг — болтаться на судне без дела, когда другие работают на совесть, «без дураков», значило, по его мнению, с самого начала воздвигнуть незримую стену вежливого отчуждения между собой и прототипами будущей повести.

Во всем Мурманске только два человека знали, что писатель Георгий Владимов и матрос II класса Георгий Волосевич — одно и то же лицо. Это были инструктор обкома партии и начальник отдела кадров сельдяного флота. И хотя они с нескрываемой иронией отнеслись к «затее» писателя, подчеркивая трудности морской жизни и уговаривая «не делать глупостей», Владимов стоял на своем:

— Товарищи, это для меня вопрос не дискуссионный. Я только прошу, чтобы никто на судне не знал, кто я... Даже капитан...

А рыбакам «Всадника», радушно принявшим новичка в свою среду, Владимов сказал:

— Сам я из шоферов... Работал на Курской магнитной аномалии... Возил руду...

Девяносто три дня маленький рыболовный траулер бороздил воды Северной Атлантики. Девяносто три дня от зари до зари рыбаки промышляли сельдь у исландских берегов, вблизи заснеженных норвежских скал и фьордов.

Не раз налетали жестокие штормы, и тогда ходуном ходила палуба, свирепый ветер обжигал лицо, снежные заряды слепили глаза, а ледяные волны, перекатываясь через борт, сбивали с ног

людей, катали по палубе бочки с засоленной сельдью... Сколько шишек набивал себе молодой моряк, какие кровавые мозоли были у него на ладонях,— ведь он многого не знал и многого не умел! Но всегда, особенно в минуты опасности, он ощущал локоть своих новых друзей, их грубоватую, но сердечную заботу, чтобы «салага» не дай бог не покалечился и не убился.

Так изо дня в день в тяжелом труде постигал писатель премудрости нелегкой морской жизни.

А в свободные от вахт часы, в тесном, насквозь прокуренном кубрике, лежа на койке, он слушал истории — комичные и печальные, забавные и горькие. Иногда, задернув над койкой занавеску, он набрасывал картины, сцены, диалоги будущей повести. В эти минуты он больше всего боялся, чтобы его «кореши» не узнали, чем он занимается...

Перевыполнив план лова, «Всадник» пришвартовался к стенке Мурманского порта.

Георгий Волосевич сошел на берег, получил расчет, паспорт, трудовую книжку. Он вновь стал Владимовым. Он собирался в Москву. Он уже купил билет на поезд, отходивший вечером, и прогуливался с матросами по улицам Мурманска. Случайно он увидел в киоске «Союзпечати» свою повесть «Большая руда» — во время плавания она вышла отдельным изданием.

Владимов купил книжку и через знакомого моряка послал ее на СРТ-849 с такой надписью:

«Капитану доблестного «Всадника» Михаилу Николаевичу Черкунову от вожакового, у которого ни разу за весь рейс не подрезал[1] вожак».

Впоследствии писателю рассказывали, что капитан недоумевающе посмотрел на книгу, не спеша открыл ее, прочел надпись, и глаза у него сделались «квадратными».

— Вот так штука! — проговорил капитан.— А я его, помнится, раза два и матом крыл!.. Что он теперь про меня напишет!..

...Повесть скоро будет закончена. Все описанное в ней увидено автором, испытано на себе. А между тем зреют новые замыслы: хорошо бы, например, написать серию рассказов о москвичах, а для этого — поработать с полгода шофером такси...

Разумеется, инкогнито.

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР

Академик Отто Юльевич Шмидт был назначен редактором журнала «Природа». Он позвонил доктору биологических наук

профессору Ивану Антоновичу Ефремову, желая привлечь его к работе в журнале,— в то время Ефремов был уже известен и как писатель-фантаст.

Трубку взял Ефремов.

— Здравствуйте, Иван Антонович!.. Говорит Шмидт... Хочу пригласить вас сотрудничать в журнале «Природа». Не сможете ли приехать ко мне?.. Следовало бы обстоятельно побеседовать...

— А почему бы вам не приехать ко мне? — спросил Ефремов. — Или вы уж так вознеслись, что считаете зазорным навестить меня?..

— Могу, конечно... А вы не очень высоко живете?.. У меня сердце пошаливает... трудно подниматься...

— Что это вы так быстро потеряли резвость? — тем же шутливым тоном спросил Ефремов.— Впрочем, не беспокойтесь — лифт работает...

— Ну что ж, вот и отлично!.. А можно ли приехать, скажем, послезавтра, часов в семь вечера?

— Приезжайте! — сказал Ефремов и положил, трубку.

Спустя несколько минут Ефремов сообразил, что добрый его знакомый профессор Георгий Шмидт, с которым он только что так легкомысленно разговаривал, никакого отношения к журналу «Природа» не имеет. Очевидно, произошла ошибка. Очевидно, ему звонил академик Отто Юльевич Шмидт, и Ефремов, как следует не расслышав, не понял, с кем говорит. При этой мысли Ефремова точно варом обварило. Что делать? Позвонить и извиниться? Или немедленно поехать и принести извинение лично?

Ефремов написал письмо. Он сообщил, что произошла ужасная ошибка, о которой он глубоко сожалеет. Он не мог себе представить, что разговаривает с Отто Юльевичем Шмидтом, и был убежден, что беседует со своим знакомым. При этом Ефремов извинился за неуважительный тон, в котором велся разговор.

Письмо было тут же отправлено. Узнав, что оно попало в руки адресата, Ефремов поехал к академику и извинился лично.

— Следует ли огорчаться, Иван Антонович?.. Я рад, что недоразумение разъяснилось, а впрочем, я был готов приехать к вам,— сказал Шмидт, выслушав объяснение Ефремова, и улыбнулся своей мягкой, обаятельной улыбкой.

...А Ефремов до сих пор не может вспоминать об этом эпизоде без чувства неловкости и в то же время без ощущения обаяния личности академика Шмидта, его скромности и такта.

ПОСЛЕДНИЙ ОРИГИНАЛ

Вот уже четверть века москвичи зачитываются «Заметками фенолога», которые за подписью «Дм.Зуев» появляются на страницах «Вечерней Москвы».

Читатели, разумеется, не знают — да и не могут знать! — что автор этих своеобразных, талантливых произведений Дмитрий Павлович Зуев — один из самых оригинальных людей в Москве, а вернее — последний оригинал в нашей древней столице.

Зуев пишет на «срыве» — длинных полосках газетной бумаги, пишет аршинными буквами, с какими-то немыслимыми закорючками и вензелями. Он так обильно сопровождает рукопись поправками, сносками и дополнениями, что видавшие виды редакционные машинистки соглашаются перепечатывать рукописи Зуева не иначе как разыграв их между собой на спичках.

Дмитрий Павлович редко бывает в редакции — неделями он пропадает в охотничьих хозяйствах и заповедниках. Часто Зуев встречает зори на берегах подмосковных рек и озер, проводя ночи у костра с егерями, охотниками, рыболовами. Свой великолепный словарный запас он пополняет в общении с этими людьми. Он вдохновляется, слушая пение птиц, шелест потревоженного легким ветром камыша, наблюдая, как тает утренний туман и как первые лучи солнца, едва вспыхнув над горизонтом, бросают свою позолоту на вершины деревьев.

Он приходит — нет, он врывается — в редакцию в высоких болотных сапогах, в какой-то допотопной кацавейке, возбужденный, обновленный, радостно-озабоченный и со словами: «Почет!» — небрежно пожимает нам руки, а затем забивается в какую-нибудь тихую комнату и там, низко склонившись над листом бумаги, пишет свои заметки... Как истинный художник, он работает с упоением, забывая обо всем на свете. Он спит на жестких редакционных диванах не раздеваясь и, так проработав сутки, а то и двое, входит в кабинет заместителя секретаря редакции, входит всегда с одной и той же жалобой на машинисток.

— Ну что это такое в самом деле,— говорит он, потрясая в воздухе сорокастраничной рукописью.— Это голгофа какая-то, а не машинописное бюро... Издеваются... Не хотят печатать!..

Заместитель секретаря редакции Александр Васильевич Степанов, четверть века назад добровольно принявший шефство над автором «Заметок фенолога», смотрит на Зуева уставшими глазами, бегло просматривает его творение и молча пишет в левом верхнем углу рукописи: «Срочно! В номер!»

И, конечно, никто из читателей очередного номера газеты не знает — да и не может знать! — сколько труда вложил Степанов,

чтобы отделить в рукописи Зуева главное от второстепенного, убрать ненужное, подчеркнуть основное. По меткому речению Николая Семеновича Лескова, Степанов «переделывал, перечеркивал, перемарывал, вставлял, сглаживал и снова переделывал»...

— И что ты думаешь? — сказал мне однажды Степанов.— Я с удовольствием «несу свой крест»... Правда, обработка рукописи Зуева требует нескольких часов нечеловеческого труда, но, понимаешь, есть в его многословных заметках что-то такое, что захватывает тебя самого... Его проза свежа, талантлива и очень, очень самобытна...

...Зуев носит монокль, французский берет и грубые яловые сапоги. Салат из одуванчиков он предпочитает всем салатам европейской кухни,— Дмитрий Павлович мелко режет одуванчики, обильно поливает их уксусом, солит и ест. Зуев любит вспоминать, что во время первой мировой войны он был уполномоченным Красного Креста, и с гордостью замечает, что его фамилия, как лица, занимавшего сей важный правительственный пост, была указана в телефонной книге «Вся Москва». В случае, если очередной его опус почему-либо задерживается опубликованием, Зуев «переписывается» с редактором, оставляя на его столе длинные «меморандумы»... К этим его чудачествам все уже давно привыкли и относятся к ним с той снисходительной улыбкой, которая не сердит его и не обижает.

Есть в Зуеве что-то от большого ребенка, что-то такое, что располагает к нему сердца даже черствых людей и заставляет их относиться к нему с нежной внимательностью.

Года три назад Зуев выпустил свою первую книгу — сборник фенологических заметок. Она быстро разошлась, эта книга, и Зуев начал писать вторую.

Зуев одинок. В его холостяцкой комнате на улице Осипенко стоит огромное бюро, за которым он восседает чинно и важно, напоминая своим видом древнего алхимика. В этой большой комнате, давно уже не убиравшейся, в фантастическом беспорядке свалены рукописи, комплекты старых газет, какие-то веревочки, заметки, книжки, блокноты; все это соседствует с охотничьими принадлежностями, ягдташами, арапниками, патронташами, ошейниками, удочками...

...Изредка в коридорах «Вечерней Москвы» появляется Дмитрий Павлович. Как всегда, он — в монокле, в берете и сапогах, под мышкой у него громадный портфель, до отказа набитый рукописями. Но сейчас Зуев уже далеко не тот, каким я знал его. Лицо постарело и пожелтело, он носит густую седую

бороду и длинные — до плеч — седые волосы. Он ходит чуть сгорбившись, но все еще бодро, при встречах редко улыбается и редко с кем-нибудь заговаривает. Его заметки теперь не появляются на страницах газеты так регулярно, как прежде, и если он все же приходит в редакцию, то только потому, что не может расстаться с газетой, не может не ощущать ее вечно напряженного пульса, не может жить вне той редакционной атмосферы, которая и составляет смысл жизни каждого журналиста.

БУКЕТ БЕЛЫХ РОЗ

— Если ты хочешь знать, что такое подлинная писательская слава, существующая помимо воли самого писателя и как бы отдельно от него,— послушай короткую историю, простую и трогательную.

Таким интригующим предисловием начал свой рассказ писатель Марк Ефетов.

— Я только что приехал из Ялты, где почти месяц провел в Доме творчества. Однажды мне захотелось прокатиться в Севастополь, и я сел на катер, курсирующий между Севастополем и Ялтой. Было раннее утро. На палубе я увидел молодую пару. Загорелые, в легкой спортивной одежде, в широкополых войлочных шляпах, с рюкзаками за плечами, они стояли, опершись руками о фальшборт, наблюдая, как из-за гор медленно выплывает солнце, как постепенно разгорается утро.

— Вы — туристы? — спросил я.

— Да,— взглянув на меня, ответили оба сразу.

— Где же вы живете?

— Ночуем на турбазе, а днем бродим где вздумается...

— А вы? — поинтересовался юноша.

— В Ялте, в Доме творчества литераторов...

— Скажите, а в Севастополе тоже живут писатели? — после некоторого молчания спросила девушка.

— Я знаю только одного писателя, который сейчас находится в Севастополе.

— Кто же это?

— Паустовский.

Девушка и ее спутник многозначительно переглянулись. По взглядам, которыми они обменялись, я понял, что мое сообщение и взволновало их и озадачило одновременно.

— А как его найти? — снова спросила девушка.

— Ей-богу, не знаю... Скорее всего в гостинице...

Вскоре катер подошел к пристани, и мы расстались. Вечером

я возвращался в Ялту и почему-то искренне обрадовался, когда среди пассажиров увидел моих случайных знакомых.

— Ну, как, удалось вам повидать Паустовского? — спросил я.

Девушка отрицательно покачала головой.

— Неужели Константин Георгиевич вас не принял? — встревожился я.

— О нет!— воскликнула девушка.

— Тогда что же произошло?.. Расскажите, пожалуйста!..

— Ну так слушайте... Приходим мы в гостиницу. «У вас живет Паустовский?» — спрашиваем администратора. А он отвечает вопросом: «Вам он очень нужен?» — «Очень»,— говорим. «Тогда идите в другую гостиницу»,— и протягивает адрес.

Мы посоветовались и пошли на рынок — неудобно как-то прийти к Паустовскому с пустыми руками... Ходим по рынку, прицениваемся к цветам, денег у нас мало, совсем почти нет... А цветы, назло, такие дорогие, просто ужас!.. Ну ничего, кое-как наскребли на букет белых роз...

Она помолчала, подумала о чем-то и продолжала:

— Приходим в другую гостиницу и опять — к администратору:

«У вас живет Паустовский?»

«Живет».

«А в каком он номере?»

«Константина Георгиевича сейчас нет... Он недавно ушел...»

Он сказал это как-то очень спокойно, а нас его слова — точно обухом по голове.

Но делать было нечего. Постояли мы немного, посмотрели друг на друга и говорим администратору:

«А вы не можете передать ему этот букет?»

«Отчего же,— говорит администратор.— Передам, А от кого, если он спросит?»

«Да ни от кого... А впрочем, скажите так: от читателей».

[1] Не запутался, не зацепился, вожак — толстый пеньковый трос, на котором крепится весь порядок сетей. Если вожак плохо уложен в бухту и «подрезает» во время выметки, все пропало — нужно выбирать сети, укладывать их заново, снова искать рыбу, и, т.д.— словом, потерять сутки, если не больше.